Валерий Александрович Подорога

Материалы к заседанию клуба
«Красная площадь»
21 февраля 2006 г.

Тема заседания:

«МОДЕЛИ ВЛАСТИ»

Власть. Опыты по психосемиологии. Заметки 90-х годов

Москва
2006

Валерий Александрович Подорога

Власть. Опыты по психосемиологии. Заметки 90-х годов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здесь собраны заметки, размышления, наброски теории и другие материалы 80-90-х годов. Отчасти они были непосредственной реакцией бурные события того времени, отчасти результатом длительных дискуссий с коллегами и друзьями. Кое-что в публикуемом тексте я поправил, но никаких основательных изменений не внес. Сожалею, что из-за недостатка времени не смог сделать более основательной редактуры материалов.

ЧТО ТАКОЕ ВЛАСТЬ? ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

1. Основная цель изысканий – понять, что такое власть? Конечно, нет ничего нового в самой повторной постановке этого вопроса. Первая позиция, которую следует закрепить: власть – это воля к различию через запрет; власть делит, отнимает, репрессирует, то, что подавляет, устанавливает систему запретов, то, что всегда противостоит и соперничает с блуждающей, «безсубстанциональной» (или, как говорит Фрейд, «свободной, несвязанной») психической энергией, которая определенным образом распространяется в социальном пространстве, той энергией без которой общество не в силах развиваться. Импульс этой энергии соответствует тому, что определяется часто в батаевских терминах, как трансгрессия социального. Переход границы или запрета. Более уместно ставить вопрос о власти не в терминах авторитета, господства, влияния, но и в тех терминах, которые являются сегодня более адекватными. Власть – это способ, каким общество организует доминирующие и наиболее эффективные каналы коммуникации. Однако власть – не коммуникация между двумя и более правоспособными субъектами (институтами, коллективами или отдельными личностями), посредством которой они могут влиять друг на друга, вызывать определенные действия и управлять ими. Необходимо понять, что власть есть род психосоциальной контр-энергии, или энергии-минус, или отрицательной энергии, она реактивна, не активна и обеспечивает возможность того или иного действия, которое в зависимости от силы первоначального импульса передается и распространяется в социальной среде, возбуждая в ней очаг ответного импульса. Один силовой поток, с позитивной энергией, возмущающей спонтанной творческой активностью сталкивается с другим, где расширяется импульс отрицательной. В точке их столкновении impact, и образуется единица власти, которую можно пока, используя термин Ницше, назвать: **квантум власти**, минимальная порция остаточной энергии, и соответствующий силе столкновения этих двух импульсов. Власть над чем-нибудь – это почти всегда некий способ создания препятствий для проникновения одной силы-потока в другие и их дальнейшее спонтанное распространение. Власть реактивирует в позитивном потоке энергии силы, организующие его, следовательно, останавливающие, пере-распределяюшие, пере-направляющие основные потоки активности в нужном ей направлении или единственно возможной для ее выживания. И это проникновение и есть для нас идеальный результат властного эффекта. Вот почему, вероятно, следует говорить, что власть боится смешений и превращений, утраты контроля, спонтанного заражения. Известный страх власти перед спонтанными множеством (начиная с известного «Больше трех не собираться!»). Таким образом, власть создает вокруг очагов заражения разветвленную сеть отработанных и направленных потоков распространения разнообразных общественных энергий. Власть и ее цель всегда одна: умножения эффектов власти («бесконечный повтор, возобновление воли к власти»). Наиболее активные очаги заражения формируют области («места»), где образуются коллективные (или массовидные) и индивидуальные тела.

2. Старый вопрос: власть – это запрет, исключение, наказание, приговор к смерти, это воля к различию, различать, чтобы различать то, чем власть в данный момент является. Различие име-

ет в виду саму власть, в различие энергетических потоков власть пытается найти свое отражение. И власть, конечно, – это желание властвовать, желание исключать, подавлять, устранять, получать удовольствие от всякого акта власти? Но это лишь субъективная характеристика самого усилия властвования.

3. Допустим, мы говорим, что власть это разновидность социального паразита. Но что это значит? Что нам дает эта формула? Определение: власть – это паразитарное использование психической энергии одного источника в пользу другого, который своей энергией не обладает (да и не нуждается в ней). В том же случае, когда использование энергии организмом переходит необходимый порог защиты, он гибнет или разрушается. Паразит – и зло и добро. Нет бытия, в том числе и социального, чтобы оно ни существовало бы в смешанной форме. Смешанность социального бытия – фундаментальное условие его существования активного и здорового общества. Эта и есть синергетическая структура общества. В таком случае должны ли мы говорить о паразитарном характере власти как негативном? Да, но лишь тогда, когда строим тоталитарно-деспотическую модель власти, или всегда? Я думаю, что всегда, ведь мы пытаемся построить модель единую и универсальную. Мы рассматриваем даже не столько конкретную историческую тоталитарную модель, а **идеальную**, то есть такую, которая потенциально содержит в себе все негативный характеристики власти. Модель власти, разделяющей, или власти, которая действует через запрет, границу, предел (прибегая в отдельных случаях к подавлению или репрессию только тогда, когда утрачивает управление энерго-потоками); она прежде всего разграничивает, в то время как свободный энергетические потоки ориентированы исключительно на принцип смешения (заражения), подрыва и преобразования стратифицированного социального поля в единый поток множественности. Для власти это случай распространения и активности психической инфекции. Эта власть, власть, которую имеет над человеческими множествами, где не прекращается метаморфоз свободной психической энергии, если она, конечно, может распространяться достаточно свободно, не встречая запретов, – приводит к тому, что психическое оказывается сценой непрерывных социальных и материальных метаболизмов тел. Следовательно, власть – стратегия *негативного*, прежде всего, это всегда «нет!» и она противостоит потокам несвязанной социальной энергии, канализует их, подавляет, если необходимо, обустраивает их «места» и «пути», вводит различные политические, социальные и индивидуально-поведенческие экономии. Всякое же нарушение стратегии власти разграничивающей ведет к социальному заражению, смешению того, что должно быть разделено.

4. Власть, в которой выделяются властвующие субъекты с их психической составляющей представляет собой власть *патетическую*, **власть-pathos**. Им кажется, что они обладают властью и могут ее передавать, распределять, активировать и т.п. Это как мощнейшая иллюзия наслаждения плодами власти-запретом и власть-различием связана с сакральным смыслом, которым наделена власть в глазах всех имеющих ее. «Другой характеристикой силы, приносящей удачу, является то, что часто она распространяется наподобие инфекции. Она передается материально»*.

5. Заражение – не отдельная тема, а фундаментальная стратегическая проблема современного мира. Геополитические стратегии начинают вновь разыгрывать старые утопии санитарного кордона: Юг-Север, Восток-Запад, Россия-Чечня, НАТО-Россия. Блокируются пути и центры поступления наркотиков. Коммуникационные сети все более усложняются и все больше вмещают в себя информации, которая находиться в непрерывном потоке преобразования и движения. Но сколько существует программ записи и передачи сообщения в системах компьютерных сетей столько существует и разновидностей компьютерных вирусов, готовых стереть (по замыслу пределу) в одно мгновение эту все расширяющуюся электронную человеческую память. Всякая защита и есть кордон перед тем, что может нарушить «нормальную» жизнедеятельность западного сообщества. Однако страх перед вирусом-заражением (все перечисленные процессы энергии миграции, нарко-трафики, террористи-

** М. Дуглас. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М., КАНОН-ПРЕСС-Ц, «Кучково поле», 2000. С. 169.*

ческие сети, голод, финансовые спекуляции) сегодня становится все более поглощающим внимание западно-европейских правительств (средств массовой информации). Век новых, но иных эпидемий, почти все они предстают в форме психических эпидемий. Сегодня власть оправдывает свою нелегитимность общим страхом перед заражением. Иначе говоря, страх перед тем, что проникает неизвестно откуда и как в самые уязвимые полости организма, проникает на таких уровнях, которые не могут никаким образом быть под защитой самого организма. Требуется дополнительный организм, который мог бы осуществлять только функцию селекции и контроля (Н. Луман). Поражение иммунной системы организма вот что грозит, если дополнительная функция контроля и различия не будет введена в игру (защита организма, которую осуществляет полезный паразит сам без помощи воли и силы привлеченного сознания). Возобновляющиеся спорадически древние эпидемии накладываются на серию экологических катастроф и бедствий, которые так или иначе относят себя к этому универсальному феномену конца 20-го столетия: всеобщим страхом перед заражением. Нарушается не просто способность защиты организма, нарушается основания условий человеческого существования, так как системы слежения контроля над все новыми и возможными психо-и-энерго-информационными потоками явно не успевают за умножающимся многообразием возможных точек заражения в социальной системе. И этот страх есть страх перед собственным бессилием в деле защиты единственной, самой уязвимой и хрупкой части мировой жизни: человеческого организма.

6. Голливуд производит множество фильмов, демонстрирующих страх перед заражения. Фильм The Thing («Нечто»), где заражение распознается просто эмпирически чудовищными событиями метаболизма животных и человека в древние прото-существа (иноземные), но само превращение оказывается чем-то подобным компьютерному вирусу, поскольку только на экране компьютора можно увидеть сам процесс этого чудовищного метаболизма, исчезновение одно живой формы существования и переход ее в другую. Страх перед заражением, как страх перед всем чем угодно, если оно, это «Нечто» не поддается ни узнаванию, ни контролю, если оно оказывается неотделимым от самого переживания страха. Можно говорить и о странной социальной эволюции болезней к концу 20-го века, когда мы получаем все новые известия о том, что причиной всех наиболее тяжких и почти неизличимых заболеваний (начиная со СПИДА, рака, шизофрении и кончая даже инфарктом миокарда является след неопознанного вируса). Вирусология как царица всех гуманитарных наук.

Власть и карантин общества. Властвующий субъект как гигиенист

7. Весьма примечательно, что М. Фуко строит в «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» описывает карту чумного города; его интересует в первую очередь не то, каким образом распространяется чума, а каким образом ее пытаются блокировать, каким образом используя жесткие, предельно жесткие дисциплинарные механизмы можно организовать жизнь в очаге самого заражения. Для этого разрабатывается постепенно изощренная технология запретов и исключений (под страхом смертной казни), которые могли бы препятствовать распространению очагов заражения и не дать этому заболеванию полностью поглотить чумной город. Чем более угрожающе распространяется заражение, тем более жестокие дисциплинарные меры предпринимаются, чтобы приостановить ее распространение. И тем более интересно то, что действие дисциплинарно-властных механизмов осуществляется независимо от этиологии самой болезни. Неизвестно, каким образом происходит само заражение, но есть набор средств ограничения прямого контакта между чумными больными и здоровыми людьми, которые всегда будет использовать власть для того, чтобы предохранить здоровых от заражения. И эта техника контроля над заражением и есть самое главное в реализации власти своей фундаментальной функции: отделять здоровое от больного, чистое от нечистого, священное от профанного, опасного от безопасного и т.п. Характерно, что все утопические города-коммуны, которые проектировались Томасом Мором, Кампанеллой, Фурье и др. так или иначе отвечали по своей стратификации и системе запрета полностью тем признакам, какими Фуко наделяет военную блокаду чумного города. Однако, с другой стороны,

более курьезный, но возможно более адекватный психически образ чумного заражения (и поэтому более точный) показывает Антонен Арто, когда он приходит к выводу, что это не болезнь, которую можно отнести лишь к особо ужасающей микробной атаке (прямой контакт), а к заболеванию «ментальному», психическому, поскольку у чумного больного прежде всего поражаются легкие и мозг: «... те два органа, которые действительно затронуты и поражены чумой, то есть мозг и легкие, оба находятся в прямой зависимости от сознания и воли. Можно помешать себе дышать или думать, можно сделать дыхание учащенным, найти для него произвольный ритм, намеренно превратить это дыхание в осознанное или бессознательное, наконец, достичь равновесия между двумя этими видами дыхания, иначе говоря, можно чередовать автоматическое дыхание, прямо управляемое большим симпатическим нервом, и иной тип дыхания, подчиняющийся уже осознанным рефлексам мозга. Можно равным образом ускорить, замедлить или подчинить определенному ритму нашу мысль. Можно упорядочить бессознательную игру духа. Но нельзя управлять тем, как наша печень процеживает гуморальную влагу, нельзя руководить тем, как сердце и артерии распределяют кровь в организме, нельзя контролировать пищеварение, останавливать или ускорять удаление вещества кишечником. Похоже, именно поэтому чума выдает свое присутствие в определенных местах, предпочитая явно захватывать все части тела, все отделы физического пространства, где человеческая воля, человеческое сознание кажутся особенно близкими и способными непосредственно проявиться»*. Мы, естественно, отличаем инфекцию органическую от психической: вторая распространяется прежде всего через систему представлений, символов, знаков и только поэтому захватывает (приводит в действие механизм заражения) тело хозяина; она контролирует его доступ к реальности, указывая ему, когда тот возможен, а когда – нет. Заражение психическое позволяет манипулировать большими массовыми образованиями, но, вероятно, только на том уровне, где образуются временные разрывы в структуре социальных стратификаций. Власть поражает психическое, но поражает его посредством поражения социального воображаемого, и манипулирует им по своему усмотрению. И даже не столько по своему плану, сколь с той целью, чтобы не один поток социальной энергии не был бы свободен, не оставался «не связанным».

8. Пока мы ограничиваемся лишь общими замечаниями, поскольку сама тема заражения должна быть выявлена в значительно расширенном горизонте исследования. Однако попробуем выбрать одну из стратегий. Допустим, что власть пользуется стратегией паразита, и, в сущности, является паразитарным образованием. Паразит – агент заражения (конечно, при определенных обстоятельствах он может быть им и не быть), поэтому ему по силам **пересекать** границы, заслоны и не подчиняться контролю, хитроумно избегать его, наносить ущерб «хозяину» настолько серьезный, что возникает вопрос об его экологической полезности. Трансгрессия и есть иной термин, обозначающий прехождение границы, а всякое нарушение границы чревато заражением. Не делай этого, иначе погибнешь! Система запретов и образуют социальную структуру в чистом виде. Запрет предполагает введение тотального различения между чистым и нечистым (своим и чужим, священным и профанным и т.п.). Заражение следует определить как прямой контакт с тем, что является абсолютно иным организму в силу того, что не организм пытается его присвоить, а напротив, паразит вынуждает себя присвоить. Паразит, или образование паразитарного типа является основным источником передачи энергии заражения

Власть и модель «паразитарного симбиоза»?

9. Почему наше внимание сосредотачивается на анализе власти как паразитарного эндо-и-экзосимбиоза? Обратить внимание на паразитарную функцию власти необходимо прежде всего потому, чтобы понять механизм внедрения и действия власти внутри институтов и социальных системах. Мне кажется Барт выразил это достаточно точно: «Кое-кто ожидает от нас интеллектуалов, чтобы

* *Антонен Арто. Театр и его двойник. М., «Мартис», 1993. С. 19-20.*

мы по любому поводу восставали против Власти; однако не на этом поле мы ведем нашу подлинную битву; мы ведем ее против всех разновидностей власти, а это нелегкая битва, ибо, будучи множественной в сфере социального пространства, власть в то же время оказывается вечной в историческом времени: изгнанная, выставленная за дверь, она является к вам в окно; она никогда не гибнет: совершите революцию, истребите власть, и она возродится, вновь расцветет при новом положении вещей. Причина этой живучести и вездесущности в том, что власть есть паразитарный нарост на самом транс-социальном организме, нарост, связанный с историей человечества, а не только с его политической, исторической историей»*. Правда, это не значит, что власть имеет еще какие-нибудь иные функции, кроме как сохранения себя и адаптации по отношению к любой среде. Но почему паразит? Это то, к чему нельзя прикасаться, чтобы не потерять чистоту, не впасть в грех, власть искушает, власть совращает, власть – это дерьмо.., «самое холодное из чудовищ» (Ницше)... Власть же наоборот – это место живого огня, смешения, окисления, заражения, очищения. Власть не может стать событием, – вот о чем было бы важно сказать. Может быть, этого и недостаточно даже для начала, но тем не менее мы не должны отказываться от непосредственных антропологически данных культурных образов власти, которые живут в языках и психологии многих самых различных культур. Власть – это что-то нечистое, смешанное, спутанное, поэтому низменное чувство превосходство над другим. Власть, если обратиться здесь к микробиологическим метафорам, – всегда инфекция, микробная атака, захват всей поверхности кожи, с проникающим поражением жировых складок, и далее все глубже туда, где кровь кровососущих паразитов входит в состав крови донора. Заражение, следовательно, смешение того, что не должно смешиваться. Но власть, возможно, не может быть интерпретирована именно как некое изначальное условие самой первой протокоммуникации, если мы скажем, что власть – это желание, что это «несвязанная энергия», что нечто что само по себе изменяется в каждое мгновение и что от самой себя ускользает. Нет, власть это иное, это не желание власти, а акт запрещающий или допускающий выражение желания, то есть власть выступает агентом расчлененной, хорошо отлаженной коммуникации, и именно такой, при которой никакое заражение не будет возможным (ни психическое, ни ментальное, ни биологическое). Воля к власти – это воля к тому, чтобы прервать коммуникацию, которая нарушает передачи информации по крайней мере о двух потоках ее. Потоки не должны ни сталкиваться, ни спутываться, ни взрываться, приводя к катастрофе всю коммуникационную сеть.

10. Но вернемся к идее власти как агента-паразита заражения. Отсюда три момента в генезисе образа власти-паразита.

Первый, власть в качестве инстанции **священного**, власти высшей, непостижимой и неприменяемой, власти умиротворенной в неподвижности института или Закона, лике Бога или Деспота; вертикальная, чистая власть Деспота, которая воздействует на поведение адептов не действием, а собственным присутствием, и прежде всего световыми эффектами: она чистая, по существу, то есть она чистая в том смысле в каком чист любой обожествленный свет, который она и должна нести в себе, как **свет очищающий.** Власть – это свет, в том смысле, в каком ее свет ей не принадлежит, ибо нет иной власти, как власти духовной, власти от Бога. Следовательно, чистая власть и есть как бы макровласть, или чисто световая власть, и следовательно, оптика действует здесь лишь с точки зрения того, что свет возвеличивает (а проще, увеличивает), но никогда не уменьшает поле видимое, куда распространяется свет, а распространяется он повсюду с равной быстротой и с равной очищающей силой. Эта власть и действует и не действует, ибо она еще не власть, в том нашем понимании, какое мы собираемся связать с тем, что этнологи и антропологи древних культур включают в оппозицию чистого и нечистого. Чистое во власти то, что приобщено к свету и созерцанию этого света.

Второй, власть в качестве инстанции всего смешанного, низкого, отвергаемого, и совершенно недифференцированного; она существует на уровне микроскопических измерений бытия, невидимая, также как невидимы первые очаги эпидемии; наблюдать ее можно только с помощью **микроскопической** оптики, поскольку только так можно «схватить» в кадр фрагменты

* *Ролан Барт. Лекция. Избранные работы. М., 1989. С. 548.*

действия **власти паразитарной**, всегда внутри социального организма, но позволяющей этому организму изменяться во времени в отдельных функциях и качествах, но не в целом. Власть паразита есть именно та власть, которая направляет активность социальных организмов на определенные цели в зависимости от мельчайших изменений внутренней и внешней среды.

10.1. Что же касается и других оснований, позволивших нам выявить и сформулировать тему власти-паразита, то к ним прежде всего следует отнести размышления над эволюцией понятия власти в современной литературе. Можно сказать, что мы должны сегодня отказаться от тех представлений, которые все-таки приводили к ответу на вопрос, что такое власть? Власть – не то, что мы знаем сегодня в качестве власти контролирующей, действующей от имени и согласно букве и духу Закона, и это не власть, которая производит, порождает, отслеживает образы и представления о себе, не эта власть есть власть, а только та, которая **действительно** скрыта, и не потому что ее скрывают, а потому, что она существует в качестве паразита на иных уровнях социобиологического и «телесного» бытия. Фуко и Делез-Гваттари все-таки недостаточно радикальны в своих толкованиях власти. Скрытость – даже не столько «тайна» или «секрет», которые просто есть проявления этой скрытости, а как онтологическое условие существования власти, которую мы определяем как власть паразитарную, или как власть-паразит (что более точно). Поэтому по-прежнему остается сильной иллюзией для многих исследователей поймать власть в ее микроскопии, то есть там, где она д е й с т в и т е л ь н о *en actu*. Скорее нужно поразмыслить над тем, какие цели ставит перед собой эта «власть», в какой мере она невольно становится то позитивной, то негативной силой в микроскопии множественных взаимодействий внутри тела-корпуса или социального организма. Власть не мыслит, конечно, и не ставит перед собой никаких целей (хотя мы можем ей приписать нечто подобное), она не предсказуема в своих запретах, то есть не входит в состав действующих средств разумного субъекта. Бесспорно, власть-паразит не субъективна, она просто участвует в системах жизненно-необходимых коммуникациях для любых социальных организмов. И там, где она наиболее эффективна, там она паразитарна, то есть, освобождена от любых иных функций, которые позволяли бы ее путать с телом самого хозяина-организма. Позитивно понимаемая власть есть власть-паразит, так как она осуществляет функции контроля над состояние всех коммуникативных потоков в социальном организме.

Третий, власть-паразит и есть то промежуточное звено, столь необходимое, чтобы понять: власть это энергия перехода из одного состояния в другое с помощью определенного носителя, который может осуществить эту двойную функцию, питаться ресурсами «хозяина» и быть под его защитой. Власть не там, где мы хотели бы ее отыскать: не движение смешанных частиц психической энергии, не «смесь» любых качеств; но власть так же и не то, что себя представляет в качестве власти через символы, ритуалы, набор особенных знаков; власть там, где может быть укрыта от какого либо наблюдения, – она глубоко в теле хозяина, там, где она осуществляя частично функции организма, полностью контролирует всю его жизнедеятельность, всегда способствуя (за сравнительно малую плату) улучшением его защиты, ориентации и стратегии выживания. Жизнь паразита столь же важна для организма, как и его собственная жизнь. Власть или точнее режим власти нарушается, когда ее паразитарная система уже более не находит для себя питания и защиты, и тогда необходимо иное социальное тело, которое могло бы изменить режим питания и защиты, но, конечно, не отменять их. Конечно, подобное определение власти (по биологическому образцу) не может иметь особых преимуществ перед другими. «Разные типы симбиоза различаются также по относительной выгоде, получаемой каждым из партнеров. При мутуалистическом (взаимовыгодном) симбиозе оба партнера выигрывают от ассоциации; при паразитическом симбиозе выгоду извлекает лишь один из партнеров, тогда как второй не выигрывает ничего, а часто даже получает более или менее тяжелое повреждение»*. И тем не менее, аналогия эта позволяет нам видеть во власти не хозяина эволюции и существования видов, и лишь тонкий механизм приспособляемости

** Р.Стейниер, Э.Эдельберг, Дж.Ингрэм. Мир микробов. Т. 3. М., «Мир», 1979. С. 293-294.*

для некоторых видов, не способных существовать самостоятельно. Важно и другое: нельзя приписывать власти субстанциональные качества, она и не субъект, но и не объект, а отношение, указывающее на взаимодействие, которое позволяет «слиться» на время «паразиту» и его «хозяину». И дело даже не в паразитизме власти, а в ее способности входить в сложные сети симбиотических процессов.

Начала семиозиса

11. Семиозис, присущий деспотическо-тоталитарной модели, деформирует привычную лингвистическую структуру знака настолько (знаменитую сосюровско-лакановскую топику), что не приходится говорить о знаковом множестве в лингвистических терминах. Знак власти не есть знак в том смысле, в каком всякий знак есть значение. В нем самом свершается действие власти, чрез него, он не репрезентирует власть, а производит. Вместо ***S/s,*** где ***S*** является означающим, а ***s*** означаемым, и где графический знак ***«/»*** выступает свидельством превосходства означающего над означаемым, требуется совершенно иной способ означивания, который был бы имманентен именно деспотически-тоталитарному знаку. В структуре соссюровско-лакановского знака задается нормативно универсальное поле значений: означающее – это материальная метка – является планом выражения акустического или концептуального образа вещи, означаемого, относящегося в свою очередь к плану содержания. Таким образом, сочетая в себе оба эти плана, знак остается неподвижной сущностью языка, неким всегда ожидаемым выпадением значения. Знак есть область застывшего значения, и он вводит различия, чтобы открыть другое, его основная операциональная направленность это различать, вводить все новые различия во то, что уже подверглось операции различения. Различать и застывать. Знак в этом смысле – это всегда отношение к другому знаку. Иначе говоря, соссюровско-лакановская схема предполагает прежде всего отношение к моральной форме знака. «Так должно быть!» И знак как бы отвечает на это: «Так и есть!» Знак рождается из взаимодействия означающего с означаемым под неизменным первенством означающего и его свободы от означаемого. В таком случае можно себе представить саму речь как это непрерывное, топологически вполне объяснимое, движение цепи означающих, которые владеют Смыслом (или прагматическим содержанием высказывания или сообщения). Ну, а как быть в том случае, когда мы не можем «засечь» черту перехода от означающего к другому означающему (и если в таком случае все референтные группы этой цепи означающих не играют никакой роли), и обратно, и мы не в силах обнажить строение вертикального сцепления самого означающего, строение специфического знака, каким являются знаки этого типа власти. Допустим, мы видим некоторый порядок знаков, которыми власть заявляет о своем присутствии (символы, ритуалы, культы, институты и пр.): мы видим то, что не является видимым, то, что скорее относится к идеологемам властного чувства, словесному воплощению, к речи, то есть к ее все той же натурально-естественно формирующейся моральной форме. Мы видим и как бы не видим, и чем больше видим, тем больше, собственно, и не видим, ибо воспринимаем властные протоки, истечения, иррадиации вполне н а т у р а л ь н о, как естественно образовавшиеся. Чтобы действительно видеть, нужно найти вероятно, другую позицию видения, заняв которую мы перестанем видеть то, что власть допускает в видимое и сможем тогда сместиться в ту точку, которая позволит нам исследовать механизмы становящейся власти, а не якобы ставшей. Мы должны, если выразиться несколько выспренно, смотреть на власть из ее собственной тьмы, и не появляться на свету ее моральной и пустой формы. Из тьмы перехода, самих протоков власти, смешений энергий, сил, и знаков. Тогда, быть может, мы станем, если не зрячими, то хотя бы теми слепыми, кто «трогает-ощущает» те конкретные механизмы власти, которые и продуцируют для нас моральную форму власти и само «видение», все что окружается сияющим нимбом ее святости, что дает возможность власти избавиться от собственной тени. Иначе говоря, мы должны совершить невозможное: попробовать посмотреть на власть ее же глазами, глазами слепыми. Вынужденная трезвость позиции.

12. Деспотически тоталитарная модель производства и поглощения знаков может быть представлена следующим образом:

Знак Деспота

S

n-s/S > s/S```= s/S``= s/S` /// S/s`= S/s``= S/s```< S/s-n

избыток означающих избыток означаемых

недостаток означаемых недостаток означающих

Знаки скользят навстречу друг другу, они проницаемы, поскольку вовлечены в один и тот же поток означивания. Если поток движется в одном направлении (слева направо), то означаемое, оставаясь одним и тем же, повторяет себя в различных означающих; если же поток движется в другом направлении (справо-налево), то здесь доминирует одно и то же означающее, пытающееся найти собственное выражение во множестве означающих. Но ни это, ни другое направление потока нельзя рассматривать отдельно, это единый семиозис властных знаков. Смещение функций означающих и означаемых определяется базисным ходом деспотической власти, – **знаком Деспота**, который занимает в едином потоке означивания сдвоенное место: как **предел** цепи и ее **разрыв**. Означающее деспота кодирует все свободные истечения означаемых, но в каждый последующий момент перекодирует этот первый поток в другой поток чистой энергии, которую несут с собой означаемые. Кодирующий и перекодирующий закон власти деспота представляет собой трансцендентную форму, не сводимую ни к какому конкретному потоку означивания. Другими словами, знак Деспота всегда п у с т о й, и требует непрерывного заполнения: все, что им означено, должно быть имманентно его форме, но сама форма должна оставаться как бы трансцендентной, и все время пустой. Странная двойственность: и пустота, недостаток и полнота, избыток. В сущности, эта косая линия-перегородка является графическим знаком, указывающим на место обращения друг в друга потоков означивания, где пульсирует трансцендентная форма власти, из которой знаки выплескиваются во все стороны и в которую они всегда снова стремятся возвратиться, выплескиваются означающими, возвращаются означаемыми. Сознание и тело адепта, захваченные процессом означивания, «не различают» самой формы, т.е. места сдваивания (обращения, перехода, разрыва), поэтому трансцендентное положение знака Деспота может быть, самым ближайшим, «теплым», «дорогим», в то время как имманентное, присущие этой форме пустота и холод кажутся отчужденными, неприкосновенно святыми, исходят холодным светом, освещающим весь мир и природу.

12.1. Деспотически-тоталитарная модель власти в своем режиме означивания, напоминает, если прибегнуть здесь к рискованной аналогии известный сегодня под именем «черной дыры» астрофизический объект. Подобно этой «дыре», власть, это темное невидимое тело, всасывает в себя всю возможную энергию социума, или желает всосать при особо благоприятных обстоятельствах, наращивая массу насилия и террора до той невозможной критической плотности, пока не наступит коллапс, пока не проскочит границу своего предела, что и станет причиной суицида Деспота. Видимо и блистает лишь то, что потребляется властью, «всасывается», а не то, что она сама есть; видимо то, что с нами делает власть, но невидимо, и не может быть видимо то, что делает саму власть именно такой, «черной дырой» социума. Власть деспота как «черная дыра», сгущение минусовой социальной материи, эта власть все-таки, которая только потребляет... Иначе говоря, она скорее потребляет, чем распределяет, упорядочивает, или контролирует. Чистое всасывание, почти без издержек, и само это потребление блистательно, видимо, что вызывает восхищение и слезы радости. Я не хотел бы отказываться от этого термина, «черной дыры», хотя понимаю, что его невозможно представить себе. Все, что угодно может быть пожрано-означено этой властью, без остатка, ибо всякий внешний предел ее пожирания не является для нее пределом, но лишь порогом интенсивности, и этот порог лишь усиливает голод власти, понуждая пожирать все больше и больше. Означивать для власти деспота – это вбирать в себя энергию означаемых, с предельно экономичным использованием своих означающих, которые со своей стороны, но уже на выбросе воспроизводят бесконечным потоком королевского фейерверка всю эту обширную иконографию деспотических и тоталитарных образов, ритуалов, масок, институтов. Парадоксальность социальной биофизики этой власти заключается в том, что она существует лишь до тех пор, пока находится в таком

трансгрессивном состоянии, до тех пор пока накачивается, всасывает и пожирает бесконечную цепь означаемых, эту открытую социальную энергию общества, превосходя свой предел насыщения, тогда она и начинает светиться, блистать во всем великолепии знаков, фигур, пространств и горизонтов уже полностью зараженных видением будущего коллапса. Блистать, оставаясь черной дырой.

12.2. Отсюда ряд следствий:

■ знак деспота – не просто знак (то есть не просто вид означивания), это след эффекта уже произведенного властным действием, знак патетичен, трансгрессивен, ибо остается следом проходящего через него силового потока, и след этот тем более заметен и ощутим, чем большей энергией обладает пожираемый носитель.

■ важно понять, что непрерывность и взаимообращение этих двух потоков становится возможным именно благодаря тому, что в одной цепи явно недостает означающих, как в другой, – означаемых. В один и тот же момент ощущается недостаток означающих и избыток означаемых, пустота и полнота, засасывание и выплескивание, обжорство и рвота, экономия и расточительство и т.п. В качестве примера можно принять любую семиотическую оппозицию, которая так или иначе, но будет верна следующей вводимой формуле:

***S/s – s/S = S/S* (Знак деспота)**

Мы бы однако так и остались в пределах бинарной семиотики, и она действительно является аутентичной там, где установлен тотемический знак деспота. Тут нечего выдумывать. Но с другой стороны, мы все таки должны понять и то, что этот знак деспота не является единым и необходимым условием формирования институтов **государства и закона**, где существует ряд ограничений на знак деспота и его непрерываемое функционирование в аутентичном «действенном» виде. Ограничения и запреты на потребление и распространение знаков деспота должны быть введены, в противном случае, государство может быть разрушено(что происходило неисчислимое число раз). Ограничение предполагает, контроль над функционированием этой архетипической биоформы власти. Именно она паразитарна, паразитарный отросток на теле единого социального организма, она не институт, а просто живая материя самой деспотической власти *en actu*. Процесс все тот же, паразитарное образование из формы регулирующей взаимоотношения и коммуникацию индивидов в обществе превращается во врага, и расширяет процесс поражения всех ресурсов организма-общества и тем самым паразитарная функция власти-государства, столь переразвитая, себе уже довлеющая неизбежно переходит в состояние распада. Латентное состояние и активно проявляющееся действие власти.

Пример: сдваивание во времени

13. Власть не имеет ни измерений прошлого, ни будущего, но обладает своим собственным временем, не соотносимым с историческим, календарным или биографическим (или те, что называют историческим). Время власти – время без времени ей внешнего; она существует пока в силах повторять себя. Для нашей советской истории есть времена: **1929(1923)* – 1937(1933) – 1953(1941) – 1964(1985) – 1986(1992)** – все это лишь фрагменты событийной хронографии, но вполне симптоматичные, то усиливающие, то ослабляющие страх(беспокойство) перед действием власти и ее стратегиями, но никогда не стирающими память о ее преступлениях. Так напряжена поза человека, чей жест почти устремлен в будущее (надежда на лучшее), но голова еще повернута назад на 180 градусов, невзирая на боль от смещения шейных позвонков, персонаж истории застывает в этой трагикомической и неудобной позе; подобно ангелу Пауля Клее, он обречен встречать впереди себя все то, что он видит в своем прошлом. Порочный круг. Вечный возврат того, что равно себе во времени. Поле видения наблюдателя, этим нескончаемым сдваиванием прошлого образа власти и будущего, оно вибрирует в такт ему, грозя потерей ориентации во времени и пространстве, повседневно проживаемой жизни. Власть же, если она претендует на то, чтобы быть деспотической и тоталитарной, т.е. абсолютно всесильной, хотя в своем собственном

образе, действует посредством механизма сдваивания того же самого, устраняя какие-либо гетерогенные. сопротивляющиеся сдваиванию элементы. Я даже могу сказать, на первых порах, что она движется во времени, сквозь него посредством развертывания и устранения жестких оптически видимых и обратимых друг в друга оппозиций: свой-чужой, живой-мертвый, жизнь-смерть, белое-черное, хорошее-плохое, – оппозиций вполне универсальных и принятых настолько, что возникает вопрос: а в чем собственно состоит специфика действия власти? Что такое тогда власть? Этот механизм вневременного сдваивания элементов прошлого и настоящего (будущего)? И да и нет! Это лишь одна сторона, репрезентирующая моральную форму власти, насаждение которой в головах ее агентов было бы невозможно без другого ряда оппозиций, не моральных, а содержательно властных. Первый ряд, – ряд моральной формы – скрывает за собой конкретные операции(механизмы) **сдваивания.** Сдваивается лишь то, что утверждает бесконечные возможности и мощь власти (правящего режима). Например, когда мы выбираем оппозицию город-деревня, рабочий- капиталист, это одно, но когда мы начинаем обсуждать иной тип оппозиций, вполне конкретных, таких как **ВСХВ (ВДНХ)-ГУЛАГ**, то второй член этой оппозиции уже не будет принадлежать моральной форме, а будет скорее технологической процедурой изготовления первого элемента оппозиции как реального объекта. Сдваивание – это всегда выявление (в одновременности сил) в найденной оппозиции действия конкретных механизмов власти. Знаки тоталитарно-деспотической модели непрерывно протекают во множестве своих микроскопических ответвлениях и частиц сквозь сознание неосторожного наблюдателя, протекают как бы дважды: сначала на уровне видимой моральной формы-идеологемы (и всей логики и последовательности избранных лозунгов власти) и на уровне своей невидимой «материи», на уровне конкретных механизмов властвования (прагмем), без которых эта моральная форма не существовала бы ни мгновения. И эти знаки сдваивания нельзя выбрать и произвольно отменить, ибо они – в нас и для нас, даже ради нас, они стали неотъемлемой структурой нашего видения мира, нашим жизненным ритмом, образовали целые контрапункты повторяющихся циклов (Кондратьев). Между знаками оппозиций первого ряда существует такой вид обмена, при котором один знак переходит в другой настолько естественно, что сам момент перехода невозможно «засечь» тому сознанию, которое им охвачено. Не возникает же вопрос, почему и один некто является «своим», «хорошим», «другом», а второй «чужим», «плохим», «врагом»? Этот вопрос и не должен возникать, если неизвестен момент самого перехода в означивании. Переход – это как раз то место в цепи означивания, где мы можем увидеть то, что с нами делает власть, но именно он то и устраняется с самого начала в сиянии моральной формы и тех прагматизированных стратегий непосредственного действия власти. Симбиотика власти. Вот это истечение знаков друг в друга без перехода я и буду называть семиозисом власти (деспотическо-тоталитарная модель здесь берется не столько в качестве примерной, сколько как поток семиозиса – ***истечения*** знаков, как сама власть в действии, но уже понимаемая независимо от каких- либо аналитических или исторических моделей).

14. Если мы выбираем модель заражения, а сама власть начинает объясняться в терминах паразитарной стратегии, то это вовсе не значит, что выбранная нами модель задает свои специфические микробиологические характеристики в описании власти. Напротив, модель выбирается в качестве стратегии самого анализа. Власть, с чем я могу согласиться, может оставаться все тем же неизвестным ***X***. Однако мы вправе испытать нашу модель в качестве единственно возможной, пока она нами отслеживается как стратегическая.

15. И далее, модель вводит метауровень: существует ли такое социальное измерение властных феноменов, которые могли быть описаны в терминах паразитарной стратегии, или то, что я называю главным событием власти: заражение. Представим себе двух субъектов, отношение между которыми складывается с помощью знаков, наделенных определенным значением и ценностью для них обоих, но которые они не вправе присвоить себе в ущерб своему другу-противнику. Эти знаки образуют свой собственный семиозис или то, что Лотман называет «семиосферой», ибо не могут быть присвоены ни одним из субъектов (именно в силу их неприсвояемости). Всякий знак есть одновременно и знак и то, что может быть присвоено, всякое присвоение

есть начало господства над Другим (посредством знаков). Таким образом, сфера присвоения-неприсвоения является помежуточной сферой, где знаки получают энергию и движутся независимо от тех проектов присвоения, которые предлагаются всякий раз субъектами. Теперь, когда выделена возможная сфера существования знаков в режиме их захвата-потери, присвоения-неприсвоения, мы замечаем, что знаков (ресурсных знаков) мало, а это значит, что никто не может произвольно умножать их количество или контролировать их умножение. Знаков в каждой семиосфере (поскольку она замкнута) крайне мало в соотношении с количеством нарастающим субъектов, которые пытаются присвоить эти знаки (их энергетические ресурсы сексуальные, экологические, милитарные, криминальные, экономические, юридические и т.п.). Но подобное, как я полагаю, характерно прежде всего для семиосферы (или ноосферы). Если же мы предположим, что семиосфера разомкнута, то тогда знаки могут умножаться в зависимости от умножения всех событий присвоения-неприсвоения самих знаков, участвующих в распределении ресурсных запасов энергии, олицетворяемых каждым отдельным знаком или их множеством.

16. Всякий присвоенный знак, какую бы энергию властную он не содержал, может быть определен как квантум власти. Можно сказать даже: как **психо-квант**. Сфера знаков н е й т р а л ь н а; не столько даже потому, что мы ее так наблюдаем, сколько по природе своей, ибо субъекты, участвующие в борьбе, «вечной войне» за знаки, не в силах их присвоить (до конца или исчерпывающим образом). Знаки власти нейтральны, ибо их невозможно присвоить. Каждый знак несет в себе множество признаков (отношений), но ни одно из них не может быть присвоено. Что значит тогда присвоить знак? Это значит наделить его одним значением (ограничив все иные), что и поставить его тем самым в полную зависимость от того, кто это значение ему придал. Но это невозможно, ибо, повторяю, всякий знак нейтрален, и не может быть захвачен. Теперь, когда мы установили ряд условий, позволяющих нам говорить о нейтральной семиосфере существования властных знаков, мы можем сделать следующий шаг, и описать ситуацию частичного присвоения знаков (а оно, заметим, всегда частично и всегда во времени). Власть – это и есть всегда просто модальность присвоения. Но всякое присвоение и есть заражение знака квантумом властного переживания, чувства, воли, – особым родом психизма. Знак сам по себе не является властным, но становится таковым лишь в результате его ограниченного и целенаправленного присвоения. По отношению к семиосфере все властные знаки образуют своего рода паразитарные колонии, которые могут разрушать постепенно всю экосферу общества, но могут напротив, стабилизировать все возникающие и неустойчивые отношения внутри единой психосоциальной системы. Конечно, можно пойти дальше и показать, что субъекты сами представляют собой лишь некоторые образы той войны, которую знаки ведут между собою, и они сами по себе мало интересны. И это вполне обоснованная подвижка в анализе.

16.1. Следует ввести некоторые ограничения в ход наших рассуждений:

■ власть никогда не присваивается, но находится в непрерывном потоке присвоения, «борьба за присвоение», в этом смысле воля-к-власти (Ф. Ницше) не есть, собственно, борьба за выживание сильнейшего, а скорее слабейшего, что достигается с помощью паразитарного эффекта: быть в другом теле как в своем, и контролировать как можно больший объем энергии-информации-силы, причем, независимо от того, насколько это может быть положительно обработано и поглощено;

■ захват или присвоение знака я буду называть властным действием, которое неизменно ведет к усилению слабейшего за счет сильнейшего;

■ победитель-паразит всегда тот, кто первым займет неподвижное положение в центре динамической системы, или в тех критических пунктах трансляции энергии, которые помогают паразиту выживать, пренебрегая нуждами «хозяина» (высший предел экономии усилий). Однако предел этот – не активность, а пассивность, достигнуть точки неподвижности в любой из динамических и активных систем присвоения, а это значит использовать ряд знаков по своему усмотрению и с точки зрения преимуществ достигнутой неподвижности. Если есть необходимость, то мы можем говорить о власти в терминах стратегии, которая, как известно, является высшим выражением экономии усилий в достижении определенной цели.

■ знак Деспота – это совокупность знаков («захваченных» и «порождаемых»), которые образуют психосемиосферу, в центре которой располагается неподвижная точка, которая растет отдельными окружностями, образуя нечто вроде поля иррадиации деспотической энергии: лик-поза-жест-ландшафт. Знак деспота обозначает высший уровень властного паразитизма

Я буду рассматривать всякую эпидемию просто как присвоения определенных знаков: голод, террор, колонизация и миграции, солнечные бури (протуберанцы), пассионарная стадия (в этносе), падагра (как условия первейшее гениальности), AIDS, вырождение, наркомания (и токсикомания) и прочее.

Тоталитарная симметрия

17. Если исходить из того, что в тоталитарно-деспотической модели для истечения знаков существуют ряд условий, которые позволяют интерпретировать эти знаки в рамках базового понятия сдваивания: знаки сдваиваются (по схеме ленты Мебиуса-Лакана) и стремятся к тому, чтобы заместить или предельно ограничить сознание, использующее эти знаки в ее прямом контакте с реальностью. В силу тоталитарной симметрии в обществе недостаток должен уравновешиваться избытком, подавляющим и устраняющим этот недостаток, или, напротив, его возвеличивающим, прославляющим и даже доводящим до эксцесса (хотя последнее мало наблюдается). В любом случае можно говорить о каких-то знаковых системах, которые функционируют совершенно независимо от того, кто их наблюдает, сопротивляется им, отвергает со всей возможной страстью. Эта знаковая модель, надо сказать, и не предполагает некоего «проницательного наблюдателя», который бы мог контролировать ситуацию в целом. Я хочу сказать, даже больше этого, эта модель и не предполагает наличие какой-либо инстанции разумной внутри своего механизма, никакого макиавелизма. Скорее астрологии, скорее господство случая, чем постижение и управление механизмом власти. Если, например, в обществе существует избыток насилия и нет никаких институтов, которые могли бы как-то смягчить его распространение (причем оно может проявляться любым, но всегда массивным или предельно частым образом), то тогда и действует этот принцип симметрии: избыток насилия будет продуцировать из недостатка сопротивления ряд образов-знаков, развивающих страх перед сопротивлением возможным, но не могущим актуализоваться в силу избытка насилия. В таком случае знаки сопротивления начинают умножаться с той же быстротой и мощью, как это это и необходимо для того, чтобы избыток насилия был приводим в действие. Самый незначительный поступок может быть наказан, именно в силу того, что он может спровоцировать (анти-эпидемию) ответное насилие. Поэтому оно и карается с такой жесткостью, которого этот проступок явно не заслуживает. Все политические процессы в разное время наблюдаемые в советской имперско-тоталитарной системе подавлялись непостижимо жестоким образом. Экономическая проблема насилия, поскольку последнее всегда избыточно. Когда власть использует знаки насилия для того, чтобы полностью подавить возможность возникновения не глобального сопротивления, а его даже мельчайшего вируса. Власть сама боится заражения, она желает быть в предельно санитарно комфортных и устойчивых отношений с обществом. Власть как медицинский эксперт-эпидемолог-инфекционист. Почему нет? Да, в этой системе отсчета, и это надо видеть, не существует отдельного, атомарного, «субъективного» человеческого тела, но только т е л а м а с с о в ы е. Вот что нужно понять в первую очередь. Речь идет о компактных массовых образованиях и допустимых мерах контроля за ними и удержания в определенном состоянии. Один и тот же принцип распределения знаков: они есть знаки эпидемиологические, то есть указывающие на возможный ареал распространения будущей психической эпидемии. Таким образом следует делить знаки между собой и в зависимости от той функции, которая им придается в организации и удержания этих массовидных социальных и «природных» тел прежде всего.

18. Все-таки, и это главное, о чем не следует забывать наверное: никакое общество не гарантировано от возвращения к этому типу организации своих знаков, тоталитарно-деспотической модели. которая всегда в «остатке», когда институты действуют наиболее тщательно в отборе и

контроле за индивидуальными качествами правового субъекта (имеются в виду, естественно, все возможные знаки, которыми оперируют, которые наблюдают-видят, переживают-понимают, которым добровольно подчиняются и которыми репрессируются).

19. Психическая эпидемия может сопутствовать биологической эпидемии, но может и не сопутствовать и тем не менее биологическая эпидемия идет и распространяется на основе психической эпидемии. Голодомор на Украине. Эпидеомиологические признаки становятся как бы скрытой моделью принятия решения. Решение не просто касается узко локальной задачи, но оно должно укрепить или создать эффект укрепления той или иной массовой организации, или института ответственного за ее существование. **Эпилептические, истерические, маниакально-депрессивные эпидемии**.

Избыточность (Redundancy)

20. Власть мы будем рассматривать как специальный случай коммуникации, паразитарной.
20.1. Чтобы подтвердить это базовое условие анализа, необходимо понять, что в этом случае превосходство получает нон-вербальная коммуникация (или паралингвистическая модель Бейтсона). Всякий вербальный знак (то есть обладающий определенным значением в системе высказываемых на языке конструкций) несет дополнительное содержание, которое не только не сводимо к лингвистическому, не только противостоит ему, но и обладает независимым семиотическим качеством. Не знак-индекс, знак-значащий, а знак-икона, иконический, то есть обладающий свойством сопровождать лингвистический порядок значения и даже разрушать его. Собственно, иконический знак и есть знак-паразит: он всегда внутри и поверх языковой конструкции, но невидим, не дан в своей лингвистической форме, он выражает нечто, но не обладает функцией выражения, он просто дается как знак качества, события или случайности, которая скорее чисто феноменальна и не сводима к чему-то ни было. Иконический знак нельзя прояснить, улучшить, он таков, какой есть в своем проявлении. В коммуникативной нише он занимает особое положение, которое мы могли бы отчасти ошибочно приписать кодирующему устройству: кодируя некие сообщения, что проходят по каналу вербальной коммуникации, он вносит нарушения в ней, но эти нарушения со своей стороны несут дополнительную информацию, без которой сообщение не могла быть принято в своем полном объеме. Другими словами, по отношению к полному объему коммуникации, проходящей через определенный канал, иконический знак, или знак-паразит выполняет функцию дополняющую, конкретизирующую и уточняющую положение отдельных партнеров в коммуникации. Несет информацию об условиях самой коммуникации, условия при которых она может состояться, чтобы сообщение было принято в полном объеме. Иконический знак по отношению к вербальному знаку выполняет симбиотическую функцию, он паразит в то время как вербальный знак считается «хозяином» сообщения. Часть-и-целое, – скорее всего нет! Скорее равное положение двух партнеров, но, причем, такое, при котором паразит начинает контролировать весь поток информации, которые воспринимает хозяин, но воспринимает только благодаря дополнительно уточняющему кодированию, которое производит паразит. Часть против целого, – это точнее! Паразит пристраивается к питательной цепи хозяина, но действует в ней так, что хозяин становится зависимым от способностей паразита влиять на саму эту цепь. В случае с иконическим знаком, мы вероятно, имеем дело здесь с эндо-и-эктопаразитом, который располагается, и не вне, и внутри языка.

21. Следующий шаг делается Делезом-Гваттари, когда включаются в исследование властных функций этологическая модель как базовая, отчасти, и «молекулярная» (Сцонди). Однако и в том и другом случае тем не менее власть все же интерпретируется в границах некоторых предзаданных социальных форм, как если бы микробиологическое изменение власти в конце концов могло быть сведено к пониманию его неким безличным разумом. Семиотические изыскания власти, которые были ими предприняты «Mille Plateaux» еще слишком привязаны к языку (языковой стратегии), в то время как власти должна быть полностью освобождена от языка, и если

мы и должны ее описывать семиотически то лишь для удобства, но не с целью описать ее действительный механизм. Все эти последние исследования открыли нам путь к пониманию феномена власти как власти-паразита. Паразит, в котором нуждаются организмы (институты) и которые не могут осуществлять между собой все виды адаптивных коммуникаций без использования паразитического кодирования передаваемой информации. А это значит, что всякая власть там, где она себя проявляет и есть власть, которая возможна лишь при определенном виде паразитарного симбиоза. Власть симбиотична, и существует власть лишь способная к симбиотической мутации. Никакой иной власти не существует и не может существовать. Поэтому мы можем высоко оценивать эту фукианскую охоту за властью («охоту» как бы на ее территории), но все дело в том, что она не обладает никакой территорией, она симбиотична изначально, она и действует как паразитарное образование, которое собственно и является условием симбиотического контакта с внешней средой и с любым другим организмом и «сознанием» (**телесное заражение, психическое, ментальное** – это три основных вида заражения, которые нам необходимо отслеживать и разобрать в их стратегических технологических элементах). Мы не можем уже больше удовлетворяться безличной игрой знаков, или поиском-отгораживанием собственно властных территорий, которые, как представлялось Фуко, организуются под действием дисциплинарного контроля (идея «Великого заключения») в пространство-территорию-камеру, Нам даже мало последних идей Вирилио или Делеза, когда введением понятия информационного потока (компьюторной модели), социальные структуры теперь описываются то ли как машины желания, то ли как машины скорости (дромология), идет речь о власти как потоке-заражении, которая связывает гетерогенные области и существа, единицы между собой, и это заражение имеет свои характеристики особые, которые, конечно, не сводятся к образам машин, но только про-токов, микроскопия здесь не должна пониматься как отдельного симбиотического заражения, хотя она может и представать в таких макрообразах. Может быть, это и невозможно задать оптику микроскопическую, чтобы уловить движение симбиотического протока в тех именно образах, которые нам необходимо использовать, чтобы удержать сам поток? Проблема заключается в следующем: или власть это то, что управляет, производит, ограничивает, разрешает и тогда мы интерпретируем власть в качестве дисциплинарного разума. Но в таком случае мы перестаем понимать власть как некое заражение, в функции про-тока либидонозной энергии, в своей может быть подлинной функции, которая как раз стремится выразить себя через смешение гетерогенного, через спутывание, заражение, инфекцию, короче, через все тот же механизм симбиотической стратегии. Если же мы встанем на точку зрения Фуко, то нам остается только говорить о власти в ее рационализованных, упорядоченных формах, о неком даже смысле Власти (хотя на самом деле, власть бес-смысленна, и не может быть выявлена точная телеология того или иного властного действия, точнее, активности).

22. В качестве примера можно взять текст Делеза-Гваттари «Кафка» (1976), который появляется после выхода в свет другого важнейшего текста Фуко «Надзирать и наказывать». Разберем эту работу с точки зрения нашей установки на описание симбиотического заражения. Что мы видим? Но прежде всего то, что авторы не принимают во внимание: Кафка описывает власть в терминах «чувственного паразитизма». А это значит, что главный герой, место которого в романе задается, как пре-увеличенная позиция наблюдения, и как порой кажется, что этот герой и есть та фигура, которая может быть отнесена сама к иному измерению, чем например, такие фантазмы как «отель», «замок», «суд». Фантазм как раз и состоит в том, что подобные пространственные образы имеют тенденцию к разрастанию, но внутри самого воспринимающего их сознания. Тем самым как происходит романное выравнивание персонажей, и уравнивание идет по линиям соразмерности времени и пространства, в котором они контактируют с другими персонажами. Так, господин К.(а для нас он всего лишь симбиотическая функция)оказывается соразмерной фигурой по отношению к самому себе, и другим персонажам за исключением тех, кто произвольно уменьшен по отношению к размерам («маленькие девочки», «мыши», «обезьяны», «целлулоидные шарики» и т.п. знаки микроскопических событий и состояний, которые он переживает). Мы же должны установить сам симбиотический поток, понять где он начинается и

как строится, какова его карта распространения? Что же мы видим, но во-первых, совершенно нелепо предполагать идею «соразмерности»: все персонажи несоразмерны друг другу, за исключением господина К., который непосредственного включен в симбиотический поток, а это значит, что персонажи несоразмерны, или точнее, они соразмерны друг другу иным образом, чем тот, который позволяет состоятся все-таки самому роману. Фигура господина К. произвольно уменьшена, и соразмерна другим персонажам, хотя на самом деле и по его позиции мы можем видеть насколько все другие персонажи пребывают в иной реальности, микроскопической. Паразитарное образование, а это и есть внутренняя архитектура Суда, относима к нормальному организму господина К. как банковского служащего, принадлежащего обычной повседневной рутине дел. Но вот что-то произошло, и появилась угроза, которая сначала выражается в некотором беспокойстве, затем эта угроза перерастает в непрерывное беспокойство, затем она переходит в более глубинное ощущение собственной вины, которое нарастает настолько, что увеличивается все большая пассивность поведения самой жертвы, которой и становится в конце концов господин К. По отношению к телу жертвы сначала преувеличенно соразмерной стандартному персонажному облику (как это кажется всякому читающему), но на самом деле здесь развертывается несколько иная оптическая игра: по мере развертывания сюжета романа громадная фигура К. становится все меньше по отношению к тому паразитарному отростку, который бурно развивается в сознании самого К. и приобретает ни с чем не сравнимые размеры. Паразит как бы оттесняет самого хозяина на периферию организма. И эта сложная машина суда, со всей этой микроскопией странных персонажей, снующих туда и сюда, и сам господин К., который уже находится в этом микроскопическом измерении собственной виновности и всего эротического очарования, которое приносит с собой это новое бытие.

22.1. Таким образом, могущество Суда заключается в том, что он создает (или производит) виновность. Когда мы начинаем повторять магические формулы Делеза-Гваттари: становление человека-жука, человека-мыши и т.п., повторяя тем самым формулу становления, то мы не должны все же забывать, что стремился показать Кафка. Его целью, как мне представляется, было передать нам этот страх перед заражением виновностью. Вина как первоначальное условие страха перед заражением, она, или точнее, интенсивность переживания вины, – вот что заражает страхом. Вина-страх-перед-заражением-заражение. Заражение – это не то, что вызывает страх, вина – вот что делает нас инфицированными, зараженными страхом. Когда герой романа Кафки «Процесс» г. К. по мере все большего усложения его отношений с Судом постепенно начинает понимать, что то, что с ним происходит, является абсурдным лишь потому, что он не может понять логики действия и Закона и Суда. Стоит только понять... Как если бы все наше предприятие по чтению Кафки и замышлялось в этом конгениальном просчитывании двух синхронизированных позиций: читательской и персонажной. Мы читаем, а это значит, что мы на стороне жертвы. Сама жертва – это мы мыслящие, читающие, сопереживающие. Жертва имеет смысл, ибо жертва не может не иметь смысла. Никакая жертва не является напрасной, ибо она имеет свой смысл. Жертвенность и жертва – это состояния, которые и порождают множество смысловых инстанций. Но у Кафки разрабатывается совершенно иная идея. Принесение себя в жертву не имеет никакого смысла, ибо сама жертва лишена какого-либо смысла в той системе отношений, которые устанавливаются в пределах странного псевдоправового континуума, который Кафка называет Судом. Суд не судит, он вообще не производит никаких судебно-правовых действий, но его существование предполагает виновность как фундаментальное измерение человеческого бытия. Суд есть потому что есть вина, но раз есть вина, значит есть и виновный. Движение начинается не от Суда (как можно было бы предположить), а от виновного, который последовательно порождает собственную виновность, которая в свою очередь порождает Суд и трансценденцию Закона, который лишь является установлением неизменностии трансцендетности самого цикла судопроизводства. Обратный порядок.

22.2 Большее значение имеет в данном случае та аналогия, которую мы хотели бы иметь в качестве основной и решающей, – заражение. Дело не в том, что мы пытаемся наложить на власть

как чисто социальный феномен биоморфные и антропологические характеристики. Дело совсем в ином, мы просто не можем сегодня исследовать саму власть вне их, поскольку власть – это не социальный феномен, а определенный род биоморфизма самой социальной среды, более того, я бы сказал и так: мы должны, к сожалению, все больше отдавать себе отчет о «работе» таких механизмов социальности, которые не поддаются рационализации, планированию, распределению, которые не соответствуют никакому Закону или Праву. Вот почему, я повторяю, власть не является социальным феноменом, но скорее определенной мутацией самого социального организма, который как и всякий организм, чтобы выжить в меняющейся среде, должен создавать внутри себя или вне сообщающиеся с ним паразитарные образования, которые одновременно и ставят его существование под угрозу и спасают, то есть дают новые адаптационные импульсы, пути, выходы. Максимализация адаптационной модели поведения. Понятие приспособительной или эволюционной стратегии. В сущности, можно говорить здесь о сходстве между «паразитом» и «хозяином», но о том, что называют бейтсовской мимикрией в этологии. Отличие заражения от мимикрии заключается в том, что природа организма во втором случае меняется лишь отчасти, но самое главное здесь заключается в том, что сама способность к мимикрии обусловлена заражением, ведь известно, насколько удачно может та или иная особь в животном мире мимикрировать, насколько способность к мимикрии была действенна в симбиотическом союзе с паразитарном образовании, вырабатывающим определенное свечение поверхности, изменения световой пигментации. Мимикрия – лишь один из результатов симбиотического заражения организма, улучшающего адаптационную стратегию. Мимикрия – лишь второе, первое есть симбиотическое заражение.

23. Множественность знаков власти и их явный метакоммуникативный аспект: нет нужды в референции, то есть знак власти не обращен к некоему политическому содержанию, которым бы он мог быть расшифрован и упразднен, напротив, знак власти аутореферентен, то есть обращен к себе и на себя замыкается. Мы подходим к анализу знаков власти именно с точки зрения отсутствия в них (за ними, пониже от них или наверху некоторых содержаний, интенциональных образов, которые мы могли бы использовать в качестве орудий толкования). **Знаки власти непроницаемы для наблюдателя**. А это значит, что власть нужно рассматривать не с точки зрения сил или форм, которые эти силы образуют, и даже не исходя из логики употребления знаков в той или иной социальной системе, но лишь с точки зрения устанавливаемых с помощью этих знаков коммуникационных сетей. Этот подход, хотя и кажется в чем-то близок по замыслу к теориям Ю. Хабермаса, Н. Лумана, тем не менее в нем под коммуникацией понимается не просто избирательное движение знаков сознании действующего агента, но спонтанное движение знаков в определенной психической сфере (среде), которую и создают конфигурации этих знаков. Психосфера подчинена семиозису паразитарного. Итак, знак власти всегда нагружен соответствующим не политическим и даже не столько стратегическим содержанием, сколько психическим. Но слово «нагружен» не следует понимать так, как если бы действительно знак обладал возможность вмещать в себя психическое содержание. Не в знаке психическое, а психическое есть сфера, в которой действуют знаки, отражая в своих конфигурациях ее состояние. Отделить психическое от знака – это значит свести знак лишь к указателю напряжений и их разрешающих векторов психической среды. Знак психичен именно в том смысле, в каком Густав Гийом указывал на явление мыслительного перехвата (la puissance qu`a la pensee de saisir elle-meme)*. Подобный перехват осуществляется с помощью знаковых множеств. То, что предлагается, это скорее нечто в роде психосемиологии власти, но ни в коем случае, не просто семиозис (как он например,

* *«То, что внимательный наблюдатель открывает в самом языке, в собственно языковом плане, - это и есть механизмы перехвата (saisie), остановки, которые действуют в мышлении». (Гюстав Гийом. Принципы теоретической лингвистики. М., 1992. С.54.) Двигаясь именно в этом направлении, можно предположить, что мы постигаем психическое событие посредством знака, но сам знак не только произволен, но и лишен какой либо субстанциональности. Всякий раз как изменяется напряжение в психической сфере, как тут же изменяются наша возможность понимания ее, ибо знаки, с помощью*

задается у Лотмана, или в системе моды у раннего Барта). Знак власти есть прежде всего знак иконический. Или знак любой несет с собой, помимо прямого указание на собственное значение и место в системе знаков, еще дополнительное психическое содержание, ибо он приводится в действие определенным порядком (коммуникативной стратегией), которая доминирует в той или иной совокупности знаков. Начальное бытие знаков – то, что они есть, что они существуют. И прежде всего, что они есть некое множество, которое упорядочивается по логике внутренних и внешних процессов коммуникативной активности. Знак – это не то, чем мы безуспешно пытаемся захватить реальность, чтобы за нее зацепиться как за «реальность», а то, что уже есть сама реальность, причем, данная нам психически с абсолютной достоверностью. Одни знаки распознаются достаточно легко, другие менее, третьи с помощью других знаков, но есть знаки, которые существуют, но не распознаются, вот таким знаками и являются знаки власти. Они везде присутствуют, но нигде не могут быть распознаны в качестве обособленной и замкнутой на себя системы знаков, ибо имеют паразитический способ существования в социуме, а это значит, что они – всегда в других знаках, но никогда не «дома», нет особой материи власти, как нет знаков только ей имманентных. Как власть, понимаемая всегда с точки зрения пронизывающего организм вируса или питающегося его «соками» энергией паразита. Паразита, безусловно, важного, причем, настолько, что сам организм государства и никакой его институт не может жить без этого паразита, ибо на него возложена обязанность аранжировать, варьировать, конфигурировать сообщения в социуме, придавать им эффективность, как несущих дополнительную информацию, которую само общество не в силах воспринять о себе без этого паразитического придатка. Знаки власти заражают, если хотите, инфицируют общество разнообразными психизмами, психомиметизмами, тропизмами и рефлексами, одним словом, – дополнительными значениями, осуществляют контроль над тем, что давно замечено как особое явление языка, что называют то его «болезнью» то позитивным именем: **избыточность** (Бейтсон, redundancy). Знаки власти лишь указывают нам, куда теперь сдвинулись коммуникативные стратегические каналы общества, и какая эпидемия их поразила, каков теперь ритм сообщений и что нужно нам, чтобы понять действие власти. А что такое власть, власть – **всегда избыток (улучшающий действие одно канала, но ухудшающий действие всех других)**, информации в любом сообщении, что налагается на него в качестве неизбежного шума, вносящего помехи, но вместе с тем предполагающего дополнительные кодировки, очищение самого сообщения, и когда механизмы контроля за сообщением все более интенсивно начинают разрастаться, это значит, что власть получает условия для своего ментального развития, и уже не остается только в пределах психического заражения. Избыток, redundancy, – семиотическое качество, которое Бейтсон придавал иконическим знакам. **Знаки власти есть знаки иконические**. В межсубъектной коммуникации знак всегда несет с собой избыток значения, от чего он не может избавиться или упразднить новыми знаками и их различиями. Решения по-прежнему принимает человек, себя сознающий субъект, но сам он уже не понимается в качестве первоначального единства, далее неразложимого, и даже не как коллектив, но как выделенная конфигурация определенных избыточных знаков, управляющих потоком психически-ментальных образов. Избыточный знак – это, в сущности, nonsense, ибо знак значит, иначе он не есть знак, н тем не менее можно ли нам все-таки аппелировать к таким знакам, которые не производят отношения, но сами себя представляют и этим представлением исчерпывают собственное существование. Могут ли быть названы знаками те знаки, которые не сводимы к вербальной или всякой иной значимой коммуникации.

24. В той самой степени, в какой государственные механизмы все меньше способны контролировать ментальное и психическое состояние («здоровье») общества, в той самой степени и раз-

которых нам открываются изменения психической сферы являются знаками ментальной конструкции, которая нами понимается в качестве структуры, принадлежащей психическому. Мы как бы описываем «деспотическую ментальность» в ее собственных измерениях. Знак ведь из инструментов познания наиболее нейтральный, и поэтому обеспечивает возможность наиболее быстрого перехвата события в психической сфере.

вивается совершенно иной вид власти, лежащий за пределами, уже существующих образов власти, которые на протяжении последних сотни лет упорно вставали перед нами, но так и не были освоены и включены в политику прямого действия. Я имею в виду то, что сделали Ф. Ницше, М. Фуко, Э. Канетти, Ф. Кафка, М. Вебер, а сегодня продолжают удерживать в качестве главного предмета мысли П. Вирилио, Ж. Делез-Ф.Гваттари, Р. Жирар. Не власть изменилась, а произошло перемещение ее от одного организма к другому, например, от государственных структур в коммуникационные сети более сложного порядка и более сильного воздействия. Техноэкономические особенности паразитарного симбиоза явно изменились. Вот почему мне было бы крайне интересно восстановить хоть отчасти процесс эволюции стратегий власти, ее паразитарные характеристики, которые она так успешно выполняет на протяжении человеческой истории. Действительно, Макс Вебер установил, некоторые типы рационализаций, которые вполне описывали стратегию протестантской интерпретации властного чувства. Рациональность сместилась в области организации властного, авторитетного социального действия, в то время как Фуко (после Ницше) вновь возобновил вопрос об неустранимом отсутствии власти там, где мы ее признаем в качестве института (или Закона), ответственного за собственное функционирования, именно там она и не оказалась, но зато ее вирус углубился в самые закрытые области человеческого опыта, социализовавшись, он стал тем переходным паразитом для отношения сексуальности, преступления, безумия и насилия.

24.1. К целям настоящего анализа относится прежде всего попытка выявить совокупность знаков-паразитов, обслуживающих имперско-тоталитарный режим власти. Выявить возможно в наибольшей чистоте разрыв между психическим образом знака (содержанием) и его ментальной технологией (операциональными возможностями), можно здесь, вероятно, говорить и о старом привычном термине «форма содержания»). Расщепленность знака на два типа реальностей: одна психическая, куда ее отношу прежде всего в силу воздействия знака, его интенсивности, частоты предъявления, повторяемости; и другая, которая формируется уже как чисто технологическая инфраструктура знака, показывающая как со знаком можно оперировать и на основании каких его свойств его эффективность может возрастать или устраняться вовсе. Итак, базовая расщепленность знака задает нам и правила опознания знаков, которая, в конечном счете, сведется к их систематическому описанию, но описанию как знаков, всегда погруженных в свою психическую среду, и только там действующих, существующих. А эта базовая расщепленность, – дизъюнкция ментальное-психическое – не должна рассматриваться лишь с точки зрения самой «расщепленности», но как уже вид аналитического разведения двух реальностей одновременно данных в самом знаке и от него неотделимых в момент его воздействия на воспринимающее сознание. Себя само удостоверяющие знаки, на себя указывающие, то есть не предполагающие никакого иного смысла кроме того, что они заявляют. Ментальное и психическое сливаются в о д н о м е д и н с т в е н н о м знаке власти и остаются неразличимыми, вот почему мы никогда не знаем, где находится тот или иной **квантум** власти, – внутри или вне сознания, то ли он пережит, то ли он лишь представлен, как пережитый.

25. Несоотносимая со своим историческим временем, календарным или биографическим временем, власть обладает своим временем, временем страха. Структура страха может быть воссоздана в динамике вечного возврата того, что неизменно равно себе в любом порядке времени. Страх лишь повторяет в себе структуру времени власти. Поэтому необходимо понять само повторение (или возврат того же самого). Власть полифункциональна, микроскопически активна («живет в порах нашей кожи»), распространена везде и повсюду в обществе, не знает границ, кроме самой себя, бесконечно делима, и в то же время неделима, может быть «захвачена» (ментально), но не может быть удержана (психически). Но самое главное, она повторяет себя и тем самым воспроизводится повсюду и столь активно, сколь невозможно предсказать ее сферу распространения и составить исчерпывающую карту. Есть власть, старая и изощренная власть Князя, Деспота, Диктатора, власть безусловная и полностью поглощенная биографическим временем (антропологическим), но именно эта власть есть лишь «представление», эта же власть, но

в действии, власть актуальная является насквозь животной и может быть исследуема в границах психомиметической, паразитарной модели. Действующий механизм власти, той власти, которая открывается нам не в миметических образах, и случайности их преобразований в политическое действие, но как неизменная семиотическая процедура: знаки власти производятся для того, чтобы показать, что власть находится в пределенном месте и только там, в этих институтах, правилах, ритуалах, в этих повторяющихся событиях и может быть представлена. Семиозис касается биоморфных, или симбиотических образований власти, которые выказывают себя в поле видимости, становятся чувственно доступными, даны, неизменно повторяются в тех же самых сочетаниях, или в любых других, но тех же самых, только тогда, когда симбиотический процесс завершен: то ли в нем нет более нужды, то ли он полностью разрушил организм, и само это образование погибает вместе с погибшим организмом. Избыток паразитарной энергии кристаллизуется в виде мертвых остатков симбиотического процесса.

Боль. Шаман и его искусство

26. Проблема, которую нам придется исследовать, чтобы понять, каким образом процедуры символизации при определенных условиях могут оказывать глубокое воздействие на телесные состояния, четко сформулирована в двух известных статьях К. Леви-Строса – «Колдун и его магия» и «Эффективность символов» (помещенных в книгу «Структурная антропология» 1962).

26.1. Итак, сеанс начат. С одной стороны, тело больное (страдающее тело роженицы, разрушаемое болью; ведь у Леви-Строса речь идет о помощи шамана в трудных родах); с другой – выздоравливающее тело роженицы, вновь обретающее свое место в мифическом континууме, входящее в символический порядок, и освобождаемое от боли и патологических нарушений благодаря искусству шамана-врачевателя, – *тело в символе* (или тело, вступающее в символ). Это «в» чрезвычайно важно акцентировать, ибо в дальнейшем мы будем иметь дело с двумя состояниями тела: одно негативное, патологическое – не может быть в символе и находится на опасном удалении от тех возможных символических процедур, которыми владеет шаман и то сообщество, от чьего имени он выступает в терапевтическом сеансе; другое состояние тела – нормальное и здоровое – никогда не может быть вне символа, всегда пребывает в сфере его непрерывного воздействия. Что значит *быть-в-символе* и что значит *быть-вне-символа*? Проблема сразу же упирается в определение символа. Символ – это не образ (но и образ), не знак (но и знак), не понятие (но и понятие). Я хочу подчеркнуть эту неуловимость символа, ибо символ скорее должен быть нами отнесен к порядку смысло задающих знаков, нежели к знаками чистым, которые нечто значат. Символ – вовсе не есть всего понемногу. Прежде всего это не знак, но если и знак, то знак странный, содержащий в себе указание на то, от чьего имени он выступает в языке. То, что символ в себе содержит, некий пластический элемент, «икона», «образ», «картинка». Можно сказать, что символ содержит, то есть символ есть некая пространственность, нечто, что помимо себя (пространство) еще содержит в себе нечто, что и позволяет ему быть символом. Итак, первое качество символа – содержать (включать в себя, располагать и т.п.) Однако, с другой стороны, он не только содержит нечто, но и выражает отношение к этому нечто. Второе качество – выражать: выражается отношение не к выражаемому, а к тому, что в нем содержится. Например, я могу выразить свое отношение к чему-либо элементарным жестом, знаком, вещью и тем самым проявить косвенно то, что я выражаю в самом выражаемом. Однако моя связь с выражением не будет обусловленной, но скорее мобильной и переменной, непрерывно меняющейся. Выражая некое свое состояние (жест), я тем не менее сосредоточен на поисках такого нейтрального выразителя, который бы помог мне выразить свое отношение к чему-либо со всей точностью. Здесь речь не идет о втором отношении: об отношении моем к тому выбору выражения, который я использую, чтобы выразить свое состояние. Следовательно, я скорее сигнализирую Другим более или менее успешно о своем состоянии, и конечно, нуждаюсь в *знаке-индексе*. Этот мой контакт со знаком оказывается полностью завершен в моем выразительном жесте: выражаемое получает свою индексальную форму и прекращает себя («мне больно», или «я радуюсь»). Следует поддержать мысль Рикера, затрагивающей вопрос о

временных измерениях символического*. Если есть некий наличный смысл (или то, чем мы придаем смысл) то есть еще и тот смысл, который включает наличный, и кроме того всякий наличный смысл уже ориентирован по другому отсутствующему смыслу, в каковой он включен, каково взаимоотношение между временем настоящего в символе и временем традиции, или временем, благодаря которому мы наследуем смысл, который налично не может быть выражен. Имеется в сущности одно время: циклическое и поэтому в себе неизменное это время традиции, и имеется время настоящего (в каком-то смысле всегда профанное), наличное, протекающее в пределах того сознания, которое его воспринимает). Рикер словно хочет нам сказать: то, что мы воспринимаем в качестве некоего опыта включает всегда два времени, а эти времена в свою очередь включены друг в друга: одно циклическое, другое линейное, но прерывистое, дискретное. В символе как такой системе эти два времени со-упорядочиваются, изменяясь по отношению друг к другу: цикличность прерывается, чтобы возобновиться, но дискретность сглаживается, чтобы вновь разорвать круги циклического. В одном круге медленно пульсируют события, в другом порядке, порядке разорванной линии времени взрываются, вспыхивая и тут же исчезая восприятия («вещи», пластические образы). События цикличны, факты восприятия дискретны. Разве незаметно это разделение, которое и должно быть устранено. Дискретно всякое восприятие, всякий чувственно-телесный акт дискретен с точки зрения наблюдающего его сознания, но в тоже самое время эта дискретность может быть и не наделена каким-либо смыслом. Наделения самого восприятия значением и делает акт восприятия дискретным. Придаваемое значение оказывается неким условием выделения восприятия из толщи воспринятого.

27. В таком случае время Традиции начинает играть роль снятия этой вынужденной дискретности в ином времени, времени События. То, что со мной случилось, имеет и локальный смысл (касающийся только меня), но и универсальный Смысл (ибо то, что со мной случилось, уже многократно случалось, и я даже могу, опираясь на опыт Традиции, придать второй смысл тому, что случилось и тем самым избавить себя от ненужных страданий или нелепых страхов). Фактически, получается так, что символ выстраивает дискретные восприятия-события, в мировой порядок событийности и тем самым нейтрализует его как дискретный, конечный и исчезающий. Символы сохраняют опыт мысли (переживания-восприятия), их задача сохранять, оберегать, побуждать к сохранению. Интерпретация и есть скорее способ сохранения смысловой предзаданности Мира (Традиция), нежели попытка восстановить первоначальное Событие в качестве универсального Смысла. Но сохранить – это значит и возобновить. Символ – это микроритуал. Поэтому символическое поле состоит из этих микроритуалов. Повторяю символ это не знак, а определенный способ связи уникального, единственного, неповторимого со Всеобщим. Символ – условие спасения. Всякий Смысл – основание для спасения. Однако в символе эта связь исполнена, достигнута и завершена, вот почему внутренняя структура взаимодействия смыслов соответствует ритуалу.

28. Сеанс начинается: шаман говорит, поет, танцует, манипулирует предметами; больная молчит. «Все происходит так, как если бы исполнитель обряда пытался заставить больную, чье восприятие реальности приглушено, а чувствительность обострена страданиями, отчетливо и сильно пережить, вновь пережить исходную ситуа-

* *Определение символа дается П. Флоренским, С. Булгаковым, П. Рикером, К. Леви-Стросом, А. Лосевым, М. Мамардашвили и А. Пятигорским. Ср. «...я назвал символом и определил через способность к двойному смыслу: символ, говорил я, с семантической точки зрения устроен так, что он передает смысл посредством смысла, в нем первичный, буквальный, земной, часто физический смысл отсылает к фигуральному, духовному, часто экзистенциальному, онтологическому смыслу, который никак не может быть дан вне этого косвенного обозначения. Символ принуждает к размышлению, зовет к интерпретации именно потому, что он больше говорит, чем не говорит, и никогда не прекращает побуждать к говорению» (Поль Рикер. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., «Медиум», 1995. С.39).*

> цию, мысленно восстановить ее в мельчайших подробностях. Эта ситуация влечет за собой целую сеть событий, предполагаемой сценой для которых служит тело и внутренние органы больной, т.е. песнь переходит от самой прозаической действительности к мифу, от физических явлений к явлениям физиологическим, от внешнего мира к внутренностям тела. Но благодаря специальной технике внушения, пользуясь патологическим состоянием пациентки, шаман создает такие условия, при которых эти мифические события, происходящие внутри тела больной, приобретают жизненность реально пережитых фактов. […]
> ... в все убыстряющемся темпе чередуются физиологические и мифические темы, словно шаман старается стереть грань между ними и уничтожить их различие в восприятии больной»*.

Остановим цитирование, чтобы поразмышлять над одной уже достаточно очевидной для нас операцией, которая используется шаманом, операцией увеличения-уменьшения. Большое и Малое. Эта операция, пускай еще в качестве начальной – уже позволяет ввести в символическое измерение сам акт восприятия (чувственной перцепции), весь телесный опыт страдающей больной. Что же необходимо сделать в самом начале сеанса и что делает шаман? Необходимо развести тело больной и переживаемую ею родильную боль. Как это сделать? Если можно сказать, что боль овладела телом роженицы и ее острое и подавляющее организм господство над всеми чувственными переживаниями и приводит к тому, что страх перед болью блокирует свободное развитие родов. И чем выше страх, те мощнее спазматическая блокировка. От больной требуется активизация собственных защитных ресурсов и в начальной стадии они явно ограничены, поскольку в попытке воспрепятствовать углублению болезненного состояния и предотвратить разрушительное действие боли, роженица блокирует мышечную систему родового тракта, чем лишь увеличивает боль. Используя повседневный язык, можно сказать, что роженица никак не может достичь необходимой степени «расслабления» («расслабиться») и тем самым смягчить боль. Таким образом, боль выступает в двух своих ипостасях и как нарушение естественного хода родов (в силу чрезмерности), но и как естественный процесс родов (переживание родов через боль и высвобождение от нее). Неудачная попытка самозащиты, конечно, влияет на сами роды в разной степени, но тем не менее она всегда существует; и если ее недостаточность не всегда оказывается патогенной, то во всяком случае она может влиять на обострение чувства боли. Итак, боль – одно из главных препятствий и врагов жизни. Вот почему необходимо отделить тело, переживающее боль, от самой боли и найти способ сместить внутреннее восприятие рожающей женщины, сконцентрированное на мышечном ступоре, во внешнее, когда бы сама роженица смогла присоединиться к шаману в качестве его двойника. Занять позицию шамана, отождествиться с ним. А это значит сделать больную участником спектакля, в котором ее роль будет скорее совпадать с ролью режиссера (чем даже с ролью зрителя). На первых порах необходимо произвести действие типа *визуальной анестезии*. Представить себя (любого из нас) вне своей боли, когда она нас просто раздирает, «убивает», конечно, трудно, но шаман делает именно это: он высвобождает роженицу от боли («заговаривает ей зубы»). Шаман экстернализует внутреннее состояние больной, как бы располагая его на сцене – словно бы существовал уникальный экран, демонстрирующий во всех деталях, значениях, «смыслах» внутреннюю анатомию пораженного органа. Матка роженицы проектируется в значительном увеличении на внутренний, психический экран всего шаманистского сеанса, теперь она сцена, а роженица – сопереживающий зритель. На этой сцене шаман как замещает роженицу, играя отчасти ее роль, и не переставая вместе с тем быть режиссером всего спектакля. Сценические функции шамана умножаются, он движется от одной роли к другой, пытаясь вывести роженицу из болевого шока. Операция увеличения матки (до космических размеров) позволяет больной увидеть свою боль в ее проекции на экран мифического континуума. Вполне допустимо сомнение: почему роженица не только склонна признать действия шамана, но и полностью подчиниться им; вероятно, между шаманом и больной должно располагаться некое единое состо-

* *К. Леви-Строс. Структурная антропология. М., «Наука», 1983, С. 171*

яние (мифического) Закона, предданное любым другим состоянием членов архаического сообщества? Почему и исходя из каких оснований можно утверждать, что указанная операция увеличения матки оказывается первым шагом на пути к успешному разрешению родов? Совершенно ясно (во всяком случае для самого Леви-Строса), что, например, современный европеец не может быть «успокоен» и тем более выведен из состояния болевого шока подобной шаманистской практикой лечения – ему мало демонстрации его внутреннего переживания даже в размерах космического События. Сама Боль недопустима сегодня, а не какое-то от нее ожидаемое проблематичное освобождение. Следует повторить: в шаманистском сеансе что-то должно предшествовать операции увеличения, что-то, что делает саму операцию эффективной. Конечно, без определенным образом избранной сообществом конвенции, что допускает определенную структурацию жизненного пространства, без ритуала излечения (со всеми тщательно отрепетированными ролевыми позициями), в котором не только все роли получают «смысл», но все иные образы мира в своих гиперболических уменьшениях и увеличениях, успешные роды, выздоровление больной не могло бы состояться. Шаман поет свою песнь-заклинание, танцует, имитирует поведение духов «злых» и «добрых», впадает в транс и т.п. – но прежде всего говорит для и за того. кто его слушает и кого он пытается исцелить. Больная не говорит – она должна слушать, и только слушание может избавить ее от боли. Нельзя также забывать и о том, что болезнь (физическая причина страдания, центрированность на боли, приводящая к физиологической блокаде больного органа и даже к смерти) является катастрофическим событием в такого рода сообществах. Болезнь, став событием, разрушает психоиндивидуальное, но прежде всего коллективное символическое единство, благодаря которому любой член сообщества переживает свое присутствие в границах мифологического универсума, где все означено и один символ переходит (я бы даже сказал: перетекает) в другой, а тот – в следующий, и где, в сущности, нет и не может быть событийной реальности, которая, как известно, проявляясь, обходится без символического). Член архаического сообщества не может быть посторонним свидетелем (занять, например, этнологическую или созерцательную позицию), он всегда «включен» – он адепт. Доступность символа, смысловая и эмоциональная, нуждается в адепте, который всегда путешествует внутри символически означенного пространства и времени, не выходит за его границы.

29. Архаический универсум является сверхозначенным пространством и в этом смысле непроницаем для События даже в своих самых хрупких связях. Всякая остановка процесса означивания вызывает катастрофу. Когда я говорю о доступности символа, то имею в виду следующее: доступ к символу предполагает включенность адепта в действие. символ не может быть опознан, принят вне этой «включенности». Отсюда, как мне представляется, следующий порядок символических измерений:

1) одни символы – это те, в которые мы включены и автоматически, бессознательно переживаем в себе их смысловое и аффектированное содержание, никогда не покидая созданное ими психофизиологическое пространство;

2) другие – это те, в которые мы пытаемся как бы включиться, но только для того, чтобы их понять, обрести знание по поводу них, чтобы затем оперировать ими чисто формально на основе этого знания и понимания;

3) третьи – те, в которые мы не можем вступить ни при каких обстоятельствах, а иногда и не в силах получить «знание» о них, это «мертвые символы» (например, символы другой веры и есть мертвые) Я бы сказал больше: символ который не воспринимается, т.е. не находится в поле собственной эффективности, и является мертвым символом. Естественно. что мертвые символы могут быть хранителями психосоматической и духовной информации о некоторых событиях, по поводу которых и была создана та или иная архаическая система символов. Можно, конечно. сказать и так: не существует мертвых символов, существуют лишь те символы, о которых мы ничего не знаем, и поэтому они и не символы; никакой из символов не может быть мертвым,-- мертвым, т.е. остановившимся, является лишь событие (уход энергии изменения), – ибо символ – не вещь, а совокупность определенных операций, позволяющих воспринять информацию о себе и о том событии, в которое включен, в котором собственно и заявляет себя Мир. Собственно, мы

должны ввести еще более обширные различия в символический универсум, если уже мы его представляем именно таким образом. И прежде всего наметить различия по ряду позиций. Символы могут быть разделены по лестнице особых качеств эффективности на:

■ символы первоначальные(архетипы Юнга, мифологические или мировые);

■ символы региональные(ограниченные по областям своего применения, территория, национальность, этнос);

■ символы индивидуальные (символы обслуживающие историю жизни и способствующие ее пониманию, например, комплекс Электры или комплекс Эдипа);

■ символы языковые (особенности выражения, метафоры, тропы и т.п.)...

30. Это те символы, чье разделение их не столько определяет, сколько описывает их отношение друг к другу и несводимость. Хотя на самом деле и все эти символы сводимы друг к другу, но при том условии, если они сосуществуют в одной системе отсчета. А под таким системами я буду понимать символические системы, которые используют определенный и всегда конечный набор символов, который не может быть использован в другой. В частности, легко определить различие между такими символическими системами, как *религиозная, мифическая, научная, философская, светская* и т.п. Синопсис символический или символярий отличается от того, как он используется в различных символических системах. Причем, этот момент использования говорит также об эффективности той или совокупности символов, их действенности функциональной. Понятно, что символ – это инструмент понимания*: мы понимаем то, что знать не можем*. Дуализмы знания и понимания (на которых особенно настаивали авторы «Символа и сознания»). Знание – это фактически захват или отчуждение буквального от фигурального смысла и тем самым нарушение самого механизма порождения смысла. Знание и должно утверждать этот разрыв между символизируемым и символизирующим, выделяя лишь то, что может быть объективировано на уровень фактичности существования. Знание объектно, или оно порождает объекты, а не застает их, формирует такие вопросы, которые уже обуславливают ответ. Вот почему знание объектно в том смысле, в каком она стремится манипулировать исключительно знаками. Ведь сам объект – это уже результат полное редукции его сложности к предельно простому выражению. Другими словами, знание формируется всегда в поле значений, а не смысловых ситуаций. То, что существует, существует благодаря знаку, знак лишь присутствует, что на себя указывает, но не проявляется прямо, то что есть, но не обязательно существует. Знак не существует, но дает и распределяет существование (он не теряет свой смысл, когда обозначает нечто, что не существует) в то время как символ обозначает лишь то, что может быть рассказано, что может быть введено в определенный дискурс, но этот дискурс может быть полностью воображаемым и не существующим). Знак пассивен, даже инертен, в то время как символ все время нуждается в повторении собственного содержания (События) в рассказе, и поскольку он рассказывается, постольку он и интерпретируется, а это значит наделяется смыслом.

31. Различие еще одно (и может быть наиболее важное): различие по символической эффективности. Ведь в каждой символической системе устанавливаются свои меры этой эффективности. Насколько эффективны символы, настолько и эффективна вся система применяемых символов. Есть жесткие и есть мягкие символические системы (религиозная или чиновная корпорация, мафия, секта, отряд или военное подразделение). В одном случае применение символических инструментов (как в случае шаманистского сеанса) требует веровательного подкрепления от адепта, в другом нет или его недостаточно. Эффективность символической системы определяется не символами в качестве «вещей», а тем какое отношение устанавливается по отношению богатству накопляемых сообществом символов. Сознание символической ценности мифа является безусловным для архаических сообществ (в отличие от современных). Между физиологическим рядом, нарушенным в своих отправлениях (болезнь, страдание, смерть, кровь), и рядом жизни – а жизнь реализуется символически – вдруг образуется дыра со знаком минус (недостаток символизации), сквозь которую идет утечка символичес-

ких содержаний; ее необходимо устранить, грубо говоря, необходимо «заделать дыру», оставленную прохождением события (боли) через символическую ткань. Больная, вступая в событие болезни, выбрасывается, исключается из социума, ибо боль притупляет чувство символического и она перестает как различать символические ценности, оперировать ими так и нуждаться в них. Вот почему в шаманистском сеансе идет прежде всего об устранении, заделывании этой дыры, – Боли. Ритуал в целостности своих операций выступает машиной, неизменно поддерживающей жизнь (и необязательно, чтобы символические операции, которые в нем применяются, имели бы подкрепление со стороны мифической мысли). По отношению к телу роженицы шаманом проводятся две совместно осуществляемые операции: одна, как мы уже говорили, Увеличение, другая – Уменьшение. Первая увеличивает тем, что уменьшает, тогда, как вторая уменьшает тем, что увеличивает. Попробую пояснить. Страдающей тело получает два перцептивных измерения: она видит, как анатомия ее страдающего органа начинает совпадать с удивительной картографией мифического пейзажа *a la* Босх в то время как больной орган переходит во внешний себе образ, утрачивая болезненную локализацию внутри ее тела. Тело роженицы замещается в боли содрогающейся маткой, образ же матки с удивительной точностью проецируется в мифическом ландшафте, а точнее сам образует этот ландшафт; тело больной, замещенное этим образом-органом, увеличивается в размерах, расширяется, набухает, «раздувается» и в силу этого захватывает восприятие больной: и она с удивительно определенностью видит все мифологически прорабатываемые детали физиологические своего больного органа но уже на экране шаманистской песни-заклинания. Другими словами, благодаря увеличению органа (его отделению от тела и превращения в отдельный и особый мир) сама больная оказывается внутри его, претерпевая условное (но в тоже время вполне реальное) уменьшение физических границ своего тела. Интроскопия спровоцированная сеансом оказывается и экзоскопией: больная теперь и внутри собственного органа и вне мира-матки. Процесс увеличения поддерживается операцией символического уменьшения – а точнее, поразительной детализацией борьбы шамана со злыми духами, ибо участвующие в битве духи помощники оказываются как микроскопичными существами, так и бесконечно великими; их величина зависит от воображаемых размеров мира-матки и от тех препятствий, которые они должны преодолеть. Они должны проникнуть туда, куда невозможно проникнуть, причем, как замечает, Леви-Строс, их проникновение в матку осуществляется не без участия самой больной (как и выход). Эти мельчайшие существа, являющие собой различные лики добрых духов и их оружия, проникают в больную и как бы раздвигают своим проникновением родовой канал, поэтому символизированный орган больной раздувается, распространяется, обретая необычные космические размеры. Тогда больная физически чувствует их проникновение и борьбу, представляемую шаманом во всех подробностях, в которой она принимает участие тем, что не просто слушает-видит, но и участвует в самой работе шамана, как его помощник и верный адепт. Покинутое тело боли преобразуется в экзоскопических образах терапии, но вероятно, благодаря тому главным образом, что шаман дает больной способность выразить зло боли в языке и преодолеть ее этим выражением.

> «Рассказ построен так, чтобы вызвать в памяти реальные действия, а роль мифа ограничивается тем, что он подставляет других действующих лиц. Эти персонажи проникают в естественное отверстие – после подобной психологической подготовки больная действительно чувствует их проникновение. Она не только чувствует их, они еще и «освещают» (прежде всего, конечно, самим себе, чтобы найти свой путь, но ей тоже, делая более «ясной» и помогая осознать локализацию смутных болезненных ощущений) дорогу, по которой собираются пройти. [...]
>
> Это «освещающее зрение», если применить слова текста, помогает духам различить их сложный путь, определяемый настоящей мифической анатомией, соответствующей не столько истинному строению детородных органов, сколько

некой эмоциональной географической карте, на которой отмечены все укрепления противника и все точки перехода в наступление...»*.

«Но в то же время появление каждого духа сопровождается подробнейшим его описанием равно, как и магическое снаряжение, которое он получает от шамана, обстоятельно перечисляется: черные жемчужины, огненные жемчужины, темные жемчужины, круглые жемчужины, кости ягуара, округлые кости, горловые кости и еще много разных костей, серебряные ожерелья, кости броненосца, кости птицы керкетолли, кости зеленого дятла, кости, из которых делают флейты, серебряные жемчужины»**.

Таким образом, шаман с поразительным мастерством пользуется операциями уменьшения-увеличения, чтобы победить боль (остановить злой дух болезни *Муу*) и как бы заставить больную пройти путь к выздоровлению, который можно определить как *оборачивания-в-символе*. Операции уменьшения-увеличения приводят к оборачиванию одного состояния психики в другое; из немоты, невыразимости болезненного состояния к участию или даже овладению всем ходом последовательно представляемой истории заболевания и конечной победой над болью. Эти операции кажутся несколько упрощенными. Однако это далеко не так. Ведь когда тело больной, страдающей от боли, вдруг оказывается сведенным к пораженному органу, то шаман прибегает к сильнейшему увеличению органа и тем самым пытается сделать больную внешним наблюдателем собственной, но уже экспонируемой в образах боли. Это начальное увеличение, и оно достигается действием рассказа, мифологизированным типом речевого воздействия. Больная, как мы уже говорили, именно в силу этого увеличения оказывается зрителем собственной боли и вместе с тем остается внутри этого мифологизированного мира, постепенно по ходу песнопения наделяемого значения и смыслом. Боль лишает смысла, но и сама бес-смысленна, ибо всякая болевая атака устраняет смысл. Мир матки оказывается сценой, где воцаряется шаман, и он требует для своего единственного зрителя полного внимания. Слушать-видеть-быть. Матка – как это подчеркивал Леви-Строс – символ мифической географии, но символ, который действенен в том случае, если больная находит в себе силы не только признать его, но и пережить как особое психическое пространство. Другими словами, матка как орган тела, став эффективным символом, начинает организовывать себя как особое уже не физическое, но психофизическое пространство, без которого невозможно говорить об успехе лечения. Двойственное положение больной: вне своего (больного) органа тела, но в том мифическом пространстве, которое воссоздано шаманом на основе символа матки. Шаман использует технику бриколажа (bricolage), суть которого, по Леви-Стросу, заключается в придании вещам, инструментам и объектам повседневного опыта дополнительного измерения (оно может быть ментальным, психическим, психосоматическим).

32. Никакая вещь в мифологическом социуме не имеет конечного и необходимого значения, более того она находится на пересечении различных потоков значения, явных и неявных, которые шаман и пытается, в зависимости от ситуации, реактивировать. Другими словами шаман работает с так называемыми *сведенными моделями* реальных объектов, в каждом отдельном случае и в зависимости от ситуации устанавливая масштаб сводимости (К.Леви-Строс). Приведенные выше перечисление различных предметов магического снаряжения, которыми наделяются духи-помощники, указывает на этот масштаб: вещь, а точнее, некие остатки и концы вещей обретают дополнительную психическую силу, в которую верит, должна верить больная. Магическая мощь шаманистского искусства как раз и заключается в том, чтобы эффективно манипулировать не столько реальными объектами, сколько их дополнительными измерениями, психическими силами. Со своей стороны, психические силы выявляются в инертном, «случайном» объекте благодаря его преобразованию через масштаб сводимости. Чтобы получить дополнительное измерение, реальный объект

* *К. Леви-Строс. Структурная антропология. С.173.*

** *Там же. С.172.*

должен быть уменьшен или увеличен по сравнению со своей прежней формой или качеством. Мифический континуум пульсирует в разнообразных масштабах сводимости и в силу этого то расширяется, растет, раздувается, захватывая собой все, то уменьшается, сводится к самому мельчайшему, почти неприметному существу или предмету. Конечно, эти операции по масштабу сводимости (уменьшение-увеличение) не следует понимать физически однозначно, так как речь идет лишь о том, чтобы наделять любую вещь дополнительным качеством жизни и тем самым лишать ее других, если это необходимо. Больная должна «видеть», что окружающий ее мир наделен неисчислимым множеством значений и что в нем нет ничего, чтобы не имело бы своего смысла. Болезнь, эта прореха («дыра») в символической ткани архаического универсума, не может быть сведена к материальной причине (нарушение жизнедеятельности органа), она находится на пересечении множества психических сил, дополнительных измерений. Не существует болезни как факта, болезнь есть символ неявленных «злых» сил, их-то и пытается выявить шаманистский сеанс. Вот почему Леви-Строс так настойчиво подчеркивает ориентированность шаманистского ритуала на борьбу со всякими разрывами, дырами, событийными остановками. Боль – это разрыв, и она пытается уничтожить все те дополнительные измерения, которым наделено символическое тело члена сообщества (до всякой болезни). Посредством боли проявляется тело как таковое – в своей отторгнутости, физическо-анатомических признаках, беззащитности и одиночестве – и с точки зрения члена сообщества оно лишено всякого смысла. (Пример: лицо и код лицевой). Человеческое тело, вырванное из своих дополнительных символических измерений и качеств, есть тело, которое не существует и не может существовать. Победить боль – это, в сущности, «заштопать дыру», которую оставило после себя тело, когда было вытесненно страданием и болью за пределы мифологического континуума и понужденное к тому, чтобы отказаться от сил жизни, питающих внетелесные измерения тела. «Шаман предоставляет в распоряжение свое пациентки язык, с помощью которого могут непосредственно выражаться неизреченные состояния и без которого их выразить было бы нельзя. Именно этот переход к словесному выражению (которое вдобавок организует и помогает осознать и пережить в упорядоченной и умопостигаемой форме настоящее, без этого стихийное и неосознанное) деблокирует физиологический процесс, т.е. заставляет события, в которых участвует больная, развиваться в благоприятном направлении»*.

ГИТЛЕР/СТАЛИН

33. Гитлер говорит... Сталин пишет... Голос и письмо – две системы насилия, которые по разному локализуют карательную мощь деспотической власти на человеческом теле, отыскивая наиболее уязвимые места. Человеческое тело становится объектом непрерывной сексуальной репрессии. Поскольку террор всегда претендует на то, что бы быть тотальным, то, естественно, что он пытается захватить весь диапазон человеческих телесных реакций, включая самые интимные стороны существования, к которым относится и сексуальный опыт индивида. Во имя создания массовидных или коллективных тел как сталинская, так и гитлеровская террористическая машины захватывали обширный ресурс сексуальных энергий, принадлежавших множеству индивидуальных и частных тел. Во многом благодаря безвозмездному потреблению этих энергий мог осуществлять сам террор. Немалое значение, приобретает в этом отношении вопрос о том, как их потреблять, какой способ сексуальной репрессии наиболее эффективен? Конечно, здесь не идет речь о выборе стратегии, ибо она уже изначально встроена в ту или иную террористическую машину и определяет ее функционирование. Оральное воздействие, специфическим образом артикулированное в глотке Гитлера, устремлено к захвату всех эрогенных зон человеческого тела-слушателя, объектом и даже интимным посредником сексуального желания массы становится деспотическое тело. Сталинская же карательная ортопедия, действующая через письмо, «по-египетски», опирается явно или неявно на кастрационный комплекс, который должен не только блокировать самопроизвольную возбудимость, но и стремится, в конечном итоге, с тиранию половых различий. Можно

* *Там же. С. 172.*

сказать, что каждый способ воздействия ориентирован на соответствующую мишень: в одном случае выбирается такая телесная карта, которая указывая на расположение эрогенных зон, предлагает пути **канализирования** потоков сексуальной энергии, их интенсивности, протяженности во времени; в другом – карта, выявляющая зоны телесного поражения, изымающая сексуальную энергию террором против ее носителей, индивидуальных «частных» тел. Не тратить, а взымать, чтобы поддерживать величие власти застывшей и неподвижной, власти якобы бесконечно устойчивой и никаким образом не могущей быть устраненной в такой своей прозрачной и ясной, пустой форме. Вопрос, следовательно, в техниках этого **взымания** (М. Фуко). Террор – одна из таких техник взымания. Потребление сексуальной энергии деспотической власть требует особого внимания, так как это процесс, конечно, не может быть выделен в каком-то чистом виде, но всегда предстает смешанным. Благодаря таким картам (картам сексуальной репрессии, «взымания») создаются фантазмы новых тел власти, *гитлеровский* и *сталинский* человек. Один их стального панциря, другой скорее из мрамора, что было бы немыслимо, если бы сексуальная энергия хотя бы отчасти была в личной собственности субъекта. Сексуальная энергия должна распределяться в социальном пространстве в зависимости от потребностей в ней деспотического тела.

Голос власти

34. «Большая истерия». Гитлер – человек речи, и поэтому он требует, чтобы его слушали, Сталин – человек письма, и поэтому он требует, чтобы его читали. Две различных стратегии. Известна мегаломания Гитлера: безумие архитектурных замыслов, преследовавшее его с юности, и отнюдь не случайная деталь биографии – совпадает с глубокой верой фюрера в величие массы (Э. Канетти). Те архитектурные пространства, которые он изобретал со Шпеером, главным архитектором III Рейха, играли роль мест обитания новой массы. Но, конечно, одно архитектурное пространство не в силах открыть массу самой себе. упорядочить и подвигнуть на движение в нужном направлении. Чтобы масса образовалась и пришла в движение требуется голос Вождя, причем, этот голос особый, скорее животно-божественный, нежели близкий и ожидаемый, человеческий или божественный удаленный. Но что такое масса? Вероятно, масса – это прежде всего множество отдельных единиц человеческих, определенным образом организованных, но находящихся между собой в несколько иных отношения, чем то сотояние контакта между людьми, которое мы наблюдаем в разного рода толпах. (Э. Канетти, Тард, Ле Бон, Ортега-и-Гассет, Московичи, З. Фрейд, Ж. Бодрийяр и др.). Будем считать, что масса это специфическим образом организованное социальное тело, которое образуется только в границах урбанизированного пространства и является предельным случаем нарушения устойчивых, повторяемых социально-жизненных связей, подобное тело массы не возникает в хорошо стратифицированном социуме, где множественные связи между индивидами регулируются с помощью различных дистанций, обеспечивающих национально-территориальную, антропологическую или личностную идентичность. Масса социально экстерриториальна, и не терпит внутри себя никаких стратификаций и соответствующих дистанций между своими составными частями и элементами, в противном случае, она распадается. Можно сказать, что для образования массы необходимо чистое социальное пространство, чистое в том смысле, в каком, например, нам может быть дана гладкая поверхность стола, по которой растекается пролитое масло, так растекается массовидное тело. Масса – это вирус города. Это само заражение пространства определенным вирусом, который вынуждает человеческие единицы группироваться в большие множества, искать близости друг к другу, но сама эта жажда сблизиться и смешаться с другим, вероятно, определяется самими источником заражения, – культом Вождя. В толпе и в очереди мы одиноки, боимся касаний, больше стремимся успеть, оттолкнуться, опередить, сохраняя надежду на свободу индивидуального или личного маневра. Нас ничто не притягивает друг к другу кроме интереса к самому происшествию или событию. Касание всегда нестерпимо для человека толпы, который хочет остаться незамеченным и нейтральным наблюдателем происходящего. Касание как раз и нестерпимо потому, что нарушает дистанционную границу, очерчивающую всегда территорию отдельного человеческого тела. Эту дистанцию обычно называют дистанцией безопасности. Массовидное тело же образуется лишь тогда, когда потребность в развитии чувства

дистанции с другим телом отпадает и нарастает желание слиться со всеми другими телам, которые охвачены те же экстазом сближения и единства. «Обнимитесь миллионы, слейтесь в радости одной!» Индивидуально выраженное тело, переходя в массовидные телесные образования исчезает без следа: массовидная телесность не имеет какой-либо антропоморфной анатомии (и поэтому ее и следует интерпретировать совершенно иначе, чем это делает Канетти): не имеет ни ног, ни рук, ни глаз, она текуча, полиморфна, плазматична, все же ее стабилизирующие и удерживающие от распада формы, остовы-иерархии находятся вне ее, сама же она не в силах подобно первым позвоночным генерировать их в своем теле. Масса тяготеет к **предельной плотности**. Массовидное тело любит плотность, нарастающую плотность, всякий раз разрастаясь, увеличиваясь, она приобретает все большую плотность. Конечно, самой важной точкой связи будет эта нарастающая плотность, отмена всех, практически любых дистанций. Следовательно, если мы должны говорить об устройстве этого тела массы, то мы должны прежде всего заметить, эту нарастающую плотность, которую-то и надо определять как род интенсивности самого разрастания, а следовательно, сразу вносится несколько измерений для ее «органов». Плотность – не что иное как интенсивность, но плотность есть еще и вид самой массы ее инерция и тяжесть. Чем плотнее массовидное тело, тем оно интенсивней, тем большей степени оно способно развить в своем движении к цели предельную быстроту. **Быстрота есть интенсивность**. То, что я здесь пытаюсь описать как массовидное тело, Канетти называл массой (в отличие от **толпы**), а Ж.-П. Сартр **«группой-в-слиянии»**. Он же говорил, ссылаясь на многочисленные исторические свидельства очевидцев захвата Бастилии, что восставшая масса двигалась к цели с другой быстротой, которую было бы невозможно ни воспринять, ни предсказать. Дальняя цель замедляет движение массы, ближайшая ускоряет, поэтому необходимо дробить дальнюю цель достижимость ближайших, чтобы мощь массы, ее тяжесть, плотность, быстрота, интенсивность не переставали нарастать. Конечно, масса Гитлера – это особая масса, это, если, если хотите, столь же архитектурная масса, сколь и радиомасса, масса имеющая слух, и пока речь разносится, умножая число слушателей, масса все время растет.

35. Маклюен как то заметил, что в эпоху телевидения Гитлер был бы невозможен. Если прибегнуть в данном случае к физической аналогии, то следует сравнить воздействие голоса Вождя на массу с воздействием звуковых волн на мягкие поверхности, когда в зависимости от высоты звука на них отпечатывается сложный и причудливый рисунок, звуковое письмо. Нечто близкое мы должны видеть и здесь. Вот почему архитектурные пространства, изобретаемые Гитлером-Шпеером, создающие временные мест обитания слушающей массы, как бы они ни были величественны и торжественны, как бы они ни восхищали и ни подавляли воображение, не в силах упорядочить массу.. придать ей должное направление к цели. Архитектура Гитлера-Шпеера – это прежде всего архитектура граммофона: запись голоса вождя в определенном объеме, который и должна сформировать сама масса. Именно голос вождя заполняет внутренние пространства имперской архитектуры, формирует тела и создает новый город, идею Нового Города. Важно подчеркнуть, что голос Вождя (Нации, Родины и Народа и прочее) благодаря эффекту глубокой резонации действительно «делает» массовидные тела, и они действительно живут равно столько, сколько времени звучит этот голос. Естественно, что голосовые вибрации Вождя воздействуют не на «душу» или «сознание» массы (нелепо предполагать наличие такие качеств у массы, если знать. что она образуется в результате устранения подобных рациональных и психологических качеств), – воздействует на сферу ее распространения, объем и плотность, короче, на рост тела.

Схема:

голос Вождя
↓
форма архитектурная тело общее, коммунальное (массовидное)
↑
слух
тело индивидуальное

Сначала неуклонно расширяющийся в социальном индивидуальном теле очаг заражения, в котором возможно голос играет фундаментальную роль, ибо вождь говорит, а это значит должны быть те, кто слушает, и не просто слушает, но предается слушаемому как состоянию, ведущими к полному погружению в экстаз. Слушать – это приближаться к порогу экстатическому, когда сам слушание становится условием существования самого слушающего. В таком случае, возникает эффект перехода в иной психотропное состояние отдельной личности, где она уже не может себя опознать и выделить. Архитектурная форма тогда оказывается видом кристаллизации экстатической состояния как уникальной визуальной формы. Причем, вводится глубоко дифференцированное архитектурное пространство по различию функций прежде всего внешнего-внутреннего.

36. Голос становится голосом Вождя, когда получает для себя резонирующее, закрытое или полуоткрытое, но предельно обширное пространство, массовидное тело рождается со своей стороны только в момент одновременного непосредственного переживания множеством индивидов голоса Вождя. В этом срединном пункте, где господствует архитектурная форма, каждый из двух становится собой: голос – голосом Вождя, отдельное тело, сливаясь с другими, Сверхтелом, телом массы. Хотелось бы отметить еще, что масса Гитлера есть **масса милитарная, «войны и захвата»,** она возникает, чтобы осуществить движение высшей быстроты; и ее направление всегда вовне. Но так ли самодостаточен сам Голос, претендующий на неоспариваемую первичность; не является ли он чем-то вынужденно вторичным? Гитлер как архитектор мира (может быть, как кинеаст, кинорежиссер?) рисует, набрасывает грандиозные схемы зданий, ими живет безумие, проектирующее карты мирового захвата. Итак, сначала, графический проект. Не об этом ли предупреждает Делез-Гваттари, когда указывают на несвободу варварских глоссолалий и случайных порывов графического видения? Однако в гитлеровском архитектурном опыте графический росчерк может быть оживлен только голосом. Удвоенная сила графического и голосового выходит за свои границы: графический проект перестройки центра Берлина или «родного» Линца может быть реализован в совершенно иной политической карте мира, с архитектурной точки зрения он столь же фантастичен, как и видения Пиранези, и, тем не менее, находит свое реальное воплощение в речи Вождя, в вибрации его голосовых потоков, обтекающих проникающих в массу, дающей ей направления «захвата». Масса или массовидное тело движется через смерть к своей цели, как замечает Канетти, массе не достаточно расти количественно, она должна захватывать время и пространство. Рост массы во времени – это масса мертвых солдат, нарастающая все больше; масса Гитлера это прежде всего милитарная масса, это не сталинская масса, скованная страхом, но и крайне экстатическая трудовая масса. Труд-война. Разрушение и Созидание. Поэтому гитлеровская архитектура представляет собой только места, где масса рождается, но одновременно мертвеет, где живое смешивается с мертвым, что увеличивает ее плотность, и следовательно, быстроту захвата. Набрасывается проект Триумфальной арки, превосходящей наполеоновскую в два раза. Для чего?

37. Возможно ли составление карты эрогенных зон деспотического тела? Это предприятие может показаться крайне сомнительным, если учитывать то, что форма деспотии всегда трансцендентна, что эта форма световая, и поэтому не является ни сексуальной и не антисексуальной, а откровенно пустой, постоянно требующей своего заполнения различными видами энергий, что связывает их, перекодирует и вновь выбрасывает наружу. Но если форма деспотического тела всегда пуста, то что позволяет ей не распадаться от втекающих в нее потоков либидонозной энергии? Конечно, способ ее организации. Но можем ли мы найти эти либидонозные анатомии и с ними работать? Если это касается гитлеровского режима означивания – точнее, симбиотического заражения – то это будет голос вождя, в сталинском – это будет деспотическое письмо. Деспотическое тело никогда не появляется на свету в своей откровенной анатомии органов, несущих либидонозную энергию, но всегда в виде лишь отдельных разрозненных объектов, «частичных объектов», которые и становятся уже для конкретного тела, смертного, второго тела Вождя объектами сексуального фетишизма. Смертное тело деспота, проходя сквозь его сиятель-

ную, светобожественную ипостась распадается на отдельные кусочки либидонозные, и они могут быть фотографиями, кадрами фильма, картинами, зданиями, дорогами и т.п. Это подобно высвечиванию материи претворенной в себе. Голос-Гитлер, – вот в чем, как своей объемной полости собираются множества, резонирующих друг друге маленьких частичных «гитлеров»: гитлер-«немецкое шоссе», гитлер-архитектурный образец, гитлер-карта мира, гитлер-кадр фильма, гитлер-живописец, гитлер-зеркало. Голос вождя жив, пока он способен связывать между собой все эти множества резонирующих друг в друге мельчайших объектов, говорить ими и через них.

37.1 В незаконченной трилогии Р. Хьюза («Лисица на чердаке», «Деревянная пастушка») можно найти примечательную реконструкцию деспотического тела Гитлера изнутри.

> «Затем он (Гитлер) принялся ухать, как сова, и посвистывать сквозь зубы, так что вскоре не осталось ни одного германского, или французского, или английского орудия, звука которого он бы не воспроизвел, и хозяева так и ахнули от изумления, когда он попытался изобразить грохот и рев артиллерии на Западном фронте – всех этих гаубиц, семидесятимиллиметровых пушек и пулеметов. Звенели стекла в окнах, тряслась мебель, а удрученный Пуци думал о том, что как сейчас тараща глаза его аристократические соседи, присушиваясь к этому грохоту, ворвавшемуся в мирную рождественскую тишину. Рев, и вой, и лязгание танков, и крики раненых... Теперь Ханфштенгли смеялись меньше, наверное не будучи уверены в том, что это так уж смешно: ведь плотный невысокий человек в синем сержевом костюме подражал голосом самым разным звукам и ничего не забывал – был тут и захлебывающийся кашель отравленного газом солдата, и булькающий хрип умирающего с простреленным легким»*.

И это верно, ибо реальный Гитлер – «вождь нации», «архитектор», «завоеватель» – становится действительно реальным, когда его микрообразами как паразитами психическими (визуальными, сонорными или тактильными) кишит все социальное пространство. Деспотическое тело может быть воссоздано с помощью частичных объектов, которые сами то образуются в качестве пересечения либидонозных потоков, но воссоздано не в некой срединной органической, индивидуально выраженной физиогномике, с помощью только того способа, который предлагается массе адептов, ожидающих его явления во все сверхчеловеческой целостности и никогда не затухающих резонаций его голоса. Тело деспота должно заставлять «облизоваться», «вызывать слюни», оно в каком-то смысле гастрономично, пожираемо всеми как всеобщая еда, как жратва на всех. Голос – это своего рода пищевод, куда устремляются потоки пищи и вновь выбрасываются, чтобы вновь устремиться, уже в другой вариации и звучании навстречу ожиданиям вечно голодной массы.

37.2. До другой цитаты – несколько замечаний. Эта сцена не представление рассказа о войне 1914 года. а скорее показ самого события войны с помощью поражающих его собеседников звуковых имитаций. Голос войны, – сама война. **Гитлер-голос-война**. Все это множество частичных объектов-паразитов, проникших в глотку Гитлера – «стоны», «крики», «хрипы», «визги» и т.п. – сообразуются с друг с другом в одно потоке симбиотического заражения, переживанием войны, и голос связывает их единой линией точной модуляции, но последняя не образует некое целое из них, они добавляются к уже воспроизведенным, подхватывая их вибрацию на другом уровне. Тело либидонозное войны собирается из множества сонорных кусочков, промежуточной связкой оказывается само голосовое тело Гитлера-рассказчика, которое способно повторить все звуки войны, вместить их в себя. Так собственно и образуется тело массовидное, которое и состоит из этих чувственных кусочков, телесных остатков, но которые исчезают в единой моду-

* *Р. Хьюз. Лисица на чердаке. Деревянная пастушка. Романы. М., «Прогресс», 1977. С. 458.*

ляции голосового либидонозного потока. Другое дело, что по мере того, как у просвещенных слушателей Гитлера начинает возрастать недоумение о потом и страх, ибо то, что казалось забавой, вдруг становится войной как таковой, что уже может вселять ужас и страх перед звуковым безумием рассказчика и самой войной. Но еще немного и они слушатели, могли быть пожраны этим всемогущим горлом и превращены в сонорные частицы. Голос слышим изнутри слушающего, и его нарастающая мощь вполне способна заставить слушающего распасться на мельчайшие сонорные частицы, и тело, более ему не принадлежащее, поступает в их распоряжение, омассовляется, то вступает в симбиотическую связь с голосом. Аналогичным образом собирается и тело деспота. Но его тело и есть тело массы, сам же Гитлер как некий персонаж биографии не существует. Не вот этот Гитлер или другой более исторический и биографический, а все все эти «микрогитлеры», живущие в голосе вождя как своей естественной среде обитания. Все эти органы деспотического тела не принадлежат ему самому, всегда как бы вынесенные во вне, в массовидные тела, они присваиваются вождем, поскольку он сам захватывается желанием масс. Гитлер захватывет только мельчайших «гитлеров», ибо они уже создали себе Гитлера и теперь пожирают его. Самопожирание и заражение. Вторая цитата:

> «Инцест (или по крайней мере почти инцест) является, быть может, наилучшим лекарством в случаях бессилия, объясняемого психологическими причинами, коренящимися в чрезмерном солипсизме, каким страдал Гитлер. В жилах этой аппетитной молоденькой племянницы текла его кровь, и вполне возможно, что его солипсическому уму она представлялась как бы женским органом, выросшим у него и составляющим единое целое с его гениталиями – некий гермафродит «Гитлер», двуполое существо, способное самосовокупляться, подобно садовой улитке... во всяком случае, теоретически такое возможно, на практике же все оказалось не так просто, и Гели пришлось, подчиняясь дяде, заниматься весьма странными вещами. Однажды она даже сказала подруге: Ты и представить себе не можешь, что это чудовище заставляет меня проделывать». Что бы она ни делала, а Гитлер со временем так вошел во вкус, что не только сам начал считать эту всевозрастающую в нем потребность в ее фокусах «любовью», но и посторонние вскоре приняли это за любовь, ибо Гитлер стал вести себя на людях, как романтический юнец, боготворящий свою непорочную избранницу. Однако (по мнению посвященных) все эти вздохи и переживания как-то уж очень не вязались с пошлыми любовными посланиями, которые она то и дело получала от него, – всеми этими записочками, расцвеченными порнографическим рисунками, изображавшими интимные части ее тела, которые он явно рисовал с натуры!»*

Хьюз выделяет здесь гитлеровскую страсть к инцесту, соразмеряя ее с солипсистским захватом мира. Ни одно без другого. «Существовать это быть воспринимаемым, *esse est percipi*» (Беркли). Кем? Тем, кто существует. Кто существует? Тот, кто воспринимает. Сдваивание в структуре начального нарциссизма. Солипсистская модель, стирает или должна стирать половую конституцию в теле деспота. Гитлеровский двуполый фантазм обладает нужной параноидальной силой, я бы сказал, точно направленной сексуальной агрессивностью для создания тела деспота, ибо это тело замкнуто на себя, и себя в себе реализует, как пустую полую форму, где либидонозная энергия не может быть подавлена никаким ни внутренним препятствием, ни внешним, то есть ни один из его органов не может быть таковым, и вообще не существует в качестве органа, ибо органы всякий раз могут создаваться на том, месте, где пересекаются либидонозные энергии. Сдвоенные половые органы, каждый из которых повторяет себя в другом, освобождая энергию: теперь она свободно переливается от одного предела к другому, выплескиваясь из одной серии сексуального напряжения в другую; и она теперь уже не может быть ло-

* *Там же. С. 584.*

кализована в каком-то отдельном органе, мужском или женском. Эрогенная зона расширяется, увлекая из за собой. Гитлер-ребенок. Голос рассеивается в мужском органе, чтобы затем собрать в женском, так каждый сексуальный предел собирает вокруг себя лишь определенные знаки: *мужское-фаллическое* вокруг него мельчайшие и слишком непомерные графические элементы (части женского тела, архитектурные фантазмы, фотографии, иллюстрации, военные и мировые карты); женское-вагинальное вокруг мельчайшие сонорные элементы, звуковые имитации, стоны, крики, хрипы, речевая истерия в целом. Не это ли дает возможность деспотическому телу завладеть массовидным на уровне голосовых воздействий, которые в свою очередь закрепляются в архитектурной мегаломании, где голос обретает ему необходимой пространство резонации, но обретает благодаря графичности. Архитектурное безумие, которым порабощено сознание типа Гитлера-Шпеера, все эти проекты циклопических сооружений являются такими же частичными объектами, как и те фрагменты женского тела, которые Гитлер воспринимал как неотъемлемые части собственного тела. Однако графическое оставалось местом, где голос воплощается в своем высшем пределе: через другой собственный орган он становится способным контролировать все пространство, создаваемое для массы. Карта мира представляет не только военную карту, или карту мировых пространств, но и карту пределов распространения голоса вождя, радиокарту.

На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги
Ломаю ночь, горящий мел
Для твердой записи мгновенной...
О.Мандельштам

Письмо деспота. Профили, прочерки, нажимы, подписи

38. Представим себе деспотическую машину письма. Бросается в глаза ее автономия, «свобода» от внешних причин и от автора (вероятно, ею пишут иначе, или она пишет иначе, что не предполагает никаких авторов или «субъектов» письма): итак, она независима от того, кто ею пишет, и от того, на чем или на ком она пишет, поскольку все пространство письма, втягивающее в себя полный социум, не существует вне машинных механизмов, все оказывается ее «рабочими частями». А это значит, что подобная машина замкнута на себя и невозможно предположить что-либо ей внешнее и тем более противостоящее (допустим в форме «свободных каракулей» или заикающейся речи). Писать с нажимом... Это значит отпечатываться наделять тяжестью буквы любое тело, которое должно быть произведено. Возможно, для начала о двух операциях письма: **профилирование** и **прочеркивание**. Деспотический профиль возникает из недеспотического имени-лика Бога... Так письмо себя разворачивает навстречу себе, чтобы замкнуть себя в лике Бога, и высшей заглавной букве, и также если оно все отвертывается в профиль, то указывает своим контуром на то пространство, которое профиль деспота может удержать. Деспотический профиль как клеймо, мера и канон: оставлять в живых после профильной трансформации. Производства профиля носит массовый характер: все должно быть профилировано, то есть направлено на определенный предмет, часть пространства, отдельного человека или отдельная черта, даже на самый мельчайший элемент реальности социума, и ничто не должно ускользнуть от этой операции. Профиль деспота предполагает абсолютную профилируемость все вещей и события, всех тел и страстей. Деспотический прочерк же действует наподобие подготовительной операции, убирает все, что мешает сплошному и тотальному профилированию. Легче всего наблюдать мир профилированный, то есть мир, где внешнее теперь будет доминировать над внутренним и полностью его определять. Развивает страсть к фасаду и иерархии социума, пирамидам и мавзолеям. Деспотическое письмо в своей первой операционной фазе и развивается как система прочерков, это не только просто вычеркивание, стирание, уничтожение отдельных фраз букв, книг, зданий, тел, это установление точки поворота в фасад, профильный абрис. В любом тексте прочерк выступает как определенный вид линейной редактуры, включа-

ющей в себя множество карательных микроопераций, цель которых создать такой новый текст, который не мог бы быть произнесен. Текст, в котором царствует запрет на произнесение. А это значит, что письмо тотальное, профилирующее направлено против свободы произнесения, против все совокупности этого бесконечного множества фрагментов социальной речи. Литература в качестве письма достигает предельного величия: читать молча, не шевеля губами, повторяй мысленно, повторяй телом, но не прибегай к комментарию, не обсуждай, ни толкуй букву с целью извлечь дух ее. Деспотическая заглавная буква не имеет «духа». Неистребимая злость, воля к мести, ненависть (это вам только кажется), что движет деспотическое письмо видимо объясняется наличием текстов, еще не прошедших фильтрацию. Пропуск в тексте не есть прочерк. Деспотическое письмо не оставляет после себя пропусков, пауз или цезур, сквозь которые могло пробиться бы на поверхность текста ритм и дыхание произносимого, он есть тотально прочеркивание, а это значит, что оно не просто зачеркивает, но устраняет такой набор слов и их значение радикальным образом: в сущности, любое идиоматическое выражение должно погибнуть, а целый класс синонимов вообще отмереть. Там, где прочерк, должно закрепиться в своей видимой мощи имя Деспота. Собственно, не надо чему-либо здесь удивляться, ведь по сути дела прочеркивание и создает условия для повторной, но уже вечной жизни текста, который не просто становится священным, сакрализуется, но принимает неизменную форму нового алфавитного порядка. Если, допустим, какая-либо фраза проходит стадию прочерка, то субъект грамматический должен вести себя так, как если бы он в каждый последующее мгновение мог быть сменен именем деспота. Нет и не может существовать никакой литературной фразы, в которой не было бы оставлено место для деспотического субъекта. Имя деспота и есть грамматический субъект. Во всяком случае, именно он теперь сковывает своей профилирующей связью все недопустимые авантюры глагола. Когда мы в эпоху тоталитарного расцвета литературного опыта встречаем цензурные прочерки в тексте, то необходимо знать что произошло устранение скрытым именем деспота всех тех языковых событий, которые не имели в виду деспотический профиль, а свершаются совершенно спонтанно и в другом времени-пространстве, сами по себе, «случайно».

39. Стоит присмотреться более внимательно к первой операции: прочеркиванию. Основный принцип ее не только писать с нажимом (гравитация властного чувства), под-черкивать, за-черкивать, вы-черкивать, но проводить прямую линию? Но что значит провести «прямую линию» в порядке общей стратегии про-черка. Казалось нет ничего проще. И это верно. Установим точку на листе бумаги, а затем соединим ее с другой непрерывным движением руки, лучше с помощью линейки. Собственно, прямая линия проводится лишь в том случае, если не имеет эмпирического значения каждая из этих точек, и ничто не препятствует ее проведению. Если власть абсолютно тотальна, а таково начальное условие того же сталинского письма (в каком-то смысле, но очень относительном, авторского), то все стратегические линии ее воздействия на социум будут **прямыми** (или непосредственными). Проведение прямой линии вообще не нуждается в каком-либо соотнесении с социальной или морально-правовой значимость отдельных точек. Как мне кажется, образ прямой линии следует держать в памяти, но ему не следует придавать тот смысл, который навязывается школьной геометрией. Провести прямую линию (а это значит ввести в действие террористическое письмо) – не значит соединить две отдельных точки; проведение линии вообще не нуждается в каком либо соотнесении с набором существующих отдельных точек. Иными словами, линия проводится не от точки к точке, а от линии к линии, то есть линия проводится всегда **между**, но через любое множество точек. Если каждая точка есть отдельная буква (и только потом есть фрагмент тела, вещи, картины или фигуры). Линия всегда реальна, точки же нет, они скорее виртуальны, исчезающи. Как линия деспотической власти прямая, этот прочерк, всегда трансцендента по отношению к любой точке текста, через которую она проходит, но каждая из проходимых точек становиться имманентной этому трансцендентному движению. Линия реальна в высшем смысле, точки лишь возможны в низшем смысле, но не реальны. Возможно, что они обладают виртуальным бытием, но их актуализация невозможна. Я бы сказал и так: линия террористического, тотального письма выявляет

или актуализует виртуальность точек, но одновременно в силу своего прямого движения стирает лишь те, кто из них подпадает под действие прямой. Конечно, речь идет о тексте социума, которые переписывается тоталитарным письмом, а не о социуме, существование которого нам представляется еще не вошедшим в текст. Так эти точки, которые уже вошли в текст социальный устраняются из политической, моральной и социальной памяти. Прочерки красного цвета на военных картах, литературных и научных текстах (по мере их бюро-кратизации) заставляют предполагать, что нелепо существование неких реальных точек без линии или даже чреватые собственной не упорядочиваемой линейностью, которые были бы способны не только ограничить, завершить или прервать движение прочеркивания, но и увести ее в сторону действия других сил власти и притяжения. Такие образы террористической геометрии, как генеральная линия, линия партии, стратегическая линия, линия-на – явно милитаристские по своему происхождению – разом соединяют всю совокупность точек, отсекая все их случайные, автономные, сопротивляющиеся прочерку эмпирические флуктуации. Стратегическая линия предполагает одно условие: социум должен стать текстом, который переписывается (картой, которая пересматривается), как если бы он не имел иного измерения кроме того, которое задается самим движением прямой линии.

39.1. Вхождение в текст социального множества, сакрализация, чтение социума в качестве текста. Легко усмотреть в подобной машине письма фундаментальную двойственность ментального и социального, и следовательно основной принцип работы, опирающийся на крайне упрощенные, если не примитивные сопоставления-дизъюнкции: «да-нет», «свой-чужой», «враг-друг», «коммунизм-капитализм», «большевик-меньшевик», которые в свою очередь замещаются коньюнкциями «Ленин-Сталин», «Народ-Партия» и т.п. Этому соответствует и катехизисная форма сталинских речей (точнее, форме ее записи, ибо сама речь не имеет никакого значения). Используется как бы один единственный сособ аргументации: если есть некая начальная точка «да», то все последующие точки, с ней соединяемые, уже никогда не могут быть точками «нет», иначе говоря, от точки, где утверждается «да», нет перехода по прямой к другой точке, где утверждается «нет»: в одно и том же высказывание недопустима смысловая фигура эллипса. В одно и том же высказывании все должно или утверждаться или отрицаться. Высказывания дублируют линию письма и подчинены ей, они не произносятся. они наносятся на уже высказанное, как их новый порядок, как будто именно этому последнему дается впервые место в священном тексте (даже если принадлежащие ему элементы смысла туда и не попадут). Зияющий цензурными прочерками текст и есть святой текст. Для сталинской геометрии недопустимо предположение о том, что в одном и том же высказывании возможно присутствие множества, противодействующих друг другу смысловых точек «да» и «нет». Линия письма не может быть искривлена диалогически, она отрицает над собой власть хоть какую-нибудь гражданского многоголосия. Власть письма – в бесконечных повторяющих себя утверждениях: *да, да, дададада, – нет, нет, нетнетнетнет...* И логика высказываний, строящихся от лица абсолютной власти, совершенно иная. Как только высказанное завершено (и действие власти то же). может возникать следующее высказывание, которое будет не столько отрицать, сколь стирать предыдущее. Власть, если она абсолютна, если нет ничего что может ограничить ее, каждый раз начинает снова, как если бы она каждый раз возникала из социального и правового ничто (К. Шмитт). Поэтому бессмысленно прослеживать логику в действиях и речах отдельной деспотической воли или группы, наделенной властными полномочиями, как бессмысленно обсуждать ее в толковательных процедурах, используя возможности оральной герменевтики. В полном молчании, невидимо пишется письмо властм, движется ее линия, которую нельзя судить не по геометрическому, ни по топографическому, ни по герменевтическому стандарту, ибо движет всегда там, где мы, через нас самих, через все, что мы любим или ненавидим, на что надеемся и от чего приходим в отчаяние. Семиозис письма – а это и есть наше описание-анализ – лишь устанавливает распространение знаков террористического письма, но не стремиться обсуждать их смысл, и их мест в осмысленных высказываниях. Поэтому эта линия, может показаться, нам не совсем прямой, вероятным кажется предположение, что она имеет более сложные траектории, чем те, которые представляются террористическому разу-

му, и в то же время она всегда прямая, как может быть и должно быть любое террористическое действие, уничтожающее или захватывающее жертву именно в тот момент, когда она уже исполнена надежд на избавление от страха. Эта линия всегда также и проект будущего действия власти, она есть само действие власти. Или говоря несколько иначе: она есть реализованная проекция, в которой настоящее действие власти совпадает с любым ее будущим действием.

39.2. Другой важный компонент коммуникативной структуры или трансформации знаков внутри сталинского режима: **чтение**. Раз письмо движется, помогая разрастаться тексту власти, то должно быть и чтение как признание силы письма. Однако письмо не зовет к себе Голос, не открывает ему пространство, оно существует до любой возможной речи о власти, и поэтому способно уничтожить ее или сводить к допустимому пределу, где она невнятна. Речь вторична и случайна. Отбор и формирование новой совершенной антропологии проходит с помощью процедур «правильного чтения». Святой текст выступает перед этим крестьянином и рабочим, перед их детьми, в виде начальных букв алфавита, первых пролетарских букварей. Обучение чтению у А. Платонова. Буква – вот событие, сложение букв, и это событие, понимание заново того, что уже было понято, пережито, и даже утрачено в качестве памяти. Вот что действует как обряд возможной инициирующей системы. Овладение алфавитом. Новый тип коммуникации: всеобщая грамотность как условие востребованности порядка чтения. Букварь как первые тексты присяги. Букварь уже неотличим от святого текста. Из букваря узнают смысл и силу ЗАГЛАВНОЙ БУКВЫ. Святой текст является в блистании мертвой заглавной буквы, и вновь и вновь читается, и по тем правилам, которые совпадают с теми правилами чтения, которые нам дало школьное детство. Тезис: *необходимо читать правильно*. Антитезис: *правильное чтение невозможно*. Синтез: *страх*. Что же это за страх? Повторяю, это не страх смерти, это **страх исчезновения**. В силу того, что правильное чтение невозможно (ведь в таком случае могла отпасть потребность как в самом тексте, так и в вожде-первотолкователе), то тот, кто пытается не только правильно читать, но *вообще* читать, подвергается большой опасности быть обвиненным в искажении буквы и духа деспотической власти. Следует не читать, а повторять написанное. Повтор отдельных слов и даже букв святого текста дает относительную гарантию правильности самого чтения. Хотя и этого может быть недостаточным. Террор линии прямой уходит в быт. Не то сказал, там сболтнул лишнего, тут оговорился, здесь совершил языковую ошибку, обмолвку, описку, опечатку и т.п., – короче, вся эта совокупность «легкой» социальной патологии не признавались сталинской машиной террора за нечто «случайное», а истолковывались как подлинные знаки-следы политического бессознательного, как очевидное проявление вины каждого человека перед властью. Замечательная сцена «опечатки» из фильма А. Тарковского «Зеркало». Было бы ошибкой полагать, что чтение текста власти – это такое же чтение, как чтение любой книги. Иначе говоря, чтобы любая возможная ошибка в чтении текста или его недопонимании были сняты, необходимо, чтобы текст власти оставался нечитаемым. По мере чтения тело читающего становится поверхностью, на которой власть пишет свои знаки, не ты, а она тебя читает. Не мы читаем, судим, размышляем над прочитанным, а нас читают. Читаемое вписывается в наши тела, мы – отдельные строчки, буквы книги власти (кстати, и сам властитель, как известно, первым проходит обработку письмом абсолютной власти, становится ее заглавной Буквой).

40. Классическим примером подобного вписывания деспотических знаков является машина наказания из новеллы Кафки «В исправительной колонии». В зависимости от своей технической настройки (модальности рабочего состояния) она пишет острыми зубьями на теле осужденного ту или иную властную формулу (вроде: «Чти начальника своего»). Причем, диапазон действия ее письма таков, что по мере нарастания невыносимой боли, у осужденного должен наступить предсмертный миг «просветления», когда он вдруг начинает читать приговор собственным телом. Письмо власти господствует над человеческим голосом, голос же деспотического закона появляется из скрежета рабочих частей машины. Машина Кафки диктует телу, каким оно должно быть, чтобы власть не замечала его. Характернейший признак тоталитаризма – абсолютное без-

различие к самим материальным условиям записи: деспотическая машина с равным успехом, с одной и той же утомительной монотонностью и точностью пишет свой код на живых, так и на мертвых телах, как на твердом, так и на податливом материале. Но повсюду «пишет» одно и тоже: лик-подпись деспота. Свой код в виде оптического клейма, отпечатаемого прямо на глазе. На плакатах сталинской эпохи красный томиком Конституции СССР, географической или политической картой страны задан всеобщий коммуникативный код деспотической власти: текст, пространство, и то, что их вписывает друг в друга, профиль деспота. Если это соотношение выразить на языке психологическом, то тогда вопрос о том, что первично фон или фигура, и что называть фоном, а что фигурой становится лишенным смысла. Первична не карта, не «красный томик» сакрального текста, первичен профиль, можно сказать, профиль как мировая линия этой власти. Террор развивает многообразные техники профилирования. Профиль первичен, потому что он всегда **между:** он также легко постигает пространство карты, как легко переходит на обложку «красного томика»; он – и то, и другое, он лишь повторяет себя в фигурных и фоновых проекциях. Линия письма власти собирает в деспотическом контуре все вещи и события мира. Читается не текст, да он и не может быть прочитан, читается профиль сил террора, накладываемый письмом деспота на все то, что может быть видимо им, слышимо и представляемо. Чтение становится механическим повтором фигур письма.

41. Накопление сталинской массы идет через непрерывное профилирование социального пространства, где индивид лишается всех индивидуальных ниш существования, ибо он или уже стал или становится профильным существом, и видит мир, себя и других благодаря набору террористических профилей. Профиль – это первоначальный сгиб письма власти, ее первый росчерк. В сущности, линия письма и состоит из бесконечного множества таких профилей, которые сцепляясь или переходя друг в друга, делают ее непрерывной. Тела, которые не поддаются перепрофилированию, исчезают в линии, вне ее остаются лишь те, кто запечатлел в себе ее прошлый или будущий след. Поэтому чтение текста власти – это своего рода еще и мнемоническое упражнение: читая, вспоминать, за что был наказан и за что будешь наказан, ты восстанавливаешь и те следы старого письма, которые оно оставило на твоем теле, на всем живом и мертвом вокруг тебя. Один выход: повторяй буква за буквой, имитируй в каждое мгновение новую встречу со знаками деспота, возможно, тогда она и не затронет тебя, ибо не заметит; будь автоматом, муляжом, овладевай необходимыми пролетарскими позами. Учись исчезать, или учись быть в исчезновении. Глаз деспота, пускай даже он и слепой, если ему придать человеческое внимание, не должен видеть тебя! Исчезай в самом его глазе, иначе исчезнешь в лагерной пыли!

41.1. Есть и другой выход, более рискованный: если предугадать будущее действие власти чтением невозможно, тогда учись слушать. Развивай ночной слух. «Слушай страна!» Но что значит учиться слушать, если голос деспота неслышим, стерт бесконечными линиями террористического письма? Речевые импровизации уходят из политической жизни, уничтожаются ее наиболее яркие представители, прежде всего старая партийная прослойка революционных трибунов и полемистов. Революционный голос остывает, пространство митинга замещается иерархически упорядоченным пространством учреждения, пространствами фасадными, парадными, музейно-выставочными и кабинетными, причем, последнее начинает умножаться за счет своей способности имитировать «тайный кабинет» высшего Вождя: в этом укрытом от глаз, секретном месте власть составляет свои комментарии к святому тексту. Ей не нужно более что-либо говорить, ей не нужны слушатели, которых нужно подпитывать энергией, возбуждать и приводить в экстаз, все эти слушатели-неудачники. Слушать власть, – слово Деспота – быть к нему при-слушным – это значит писать, повторять его письмо и росчерки. Одно из самых замечательных форм массового психоза повторения слов власти является **донос.** Действительно, донос рождается из страха перед исчезновением, из страха самого прислушивания к любым другим голосам. Если власть отвергла собственный голос. как средство выражения совершенно несоразмерное ее могуществу, то любые голоса, вся бытовая речь умаляет значение письма власти.

Донос и переводит в микро письмо власти все эти случайные продукты прислушивания. Слушать все и всех: отца, мать, сестер и братьев. В доносе, может быть, как ни в каком ином свидетельстве тоталитарной эпохи отражается сущность самой деспотической власти. Ведь доносить, это всего лишь давать письму власти проникать в самые удаленные от нее ниши социального организма, делать его вездесущим и неотвратимым, способным к переписыванию всего, даже еле слышимого вздоха.

41.2. Между тем сталинское письмо не в силах уничтожить область скрытых графических экспериментов, они продолжаются, хотя уже все тела, в том числе и тела поэтов уготованы карающей записи. Дальняя традиция, от «России в письменах» А. Ремизова и «Зангези» В. Хлебникова к «Грифельной оде» О. Мандельштама. Еще жив графизм, который питает голоса поэтов. Ремизов говорит о первом касании: «Мое “испредметное”... не только в предметах-вещах и в живых лицах. а также и в самом материале – в бумаге, и для вызова к жизни не требуется никакого внимания-всматривания, глаз совсем ни причем, а надо только как-то коснуться». Графический контур, след, каракули детского рисунка и наших снов, заумь и бессмыслица. Все эти каракули-рисунки на полях рукописи, не фигуры, не лица, и не почерки или проходы твердого нажима по профилю вещи, собираются вокруг случайных слов, вокруг голоса, который уже говорит, ничего не говоря, рисует, просто скользит... Первое касание, этот лепет непереводимого в четкую и ясную запись, оставляет свой вибрирующий след, те же каракули, тем неразборчивым подчерком, словно остатки неизвестного языка, чудом сохранившиеся. Здесь обретаются силы другие, силы «поэтической материи», они ищут законов собственного ритма в графических росписях и знаках, но сама графичность никогда не переходит в законченный образ, не нависает над будущим словом, над произнесением как его будущая скорлупа. При рассматривании поэтического пера Мандельштам увидел в нем не просто «кусочек птичьей плоти», он обесценил партикулярность деспотического письма: «Письмо и речь несоизмеримы. Буквы соответствуют интервалам. Старая итальянская грамматика, так же как и наша русская, все та же волнующаяся птичья стая, все та же пестрая тосканская , то есть флорентийская толпа, меняющая законы как перчатки, и забывающая к вечеру изданные сегодня утром для общего блага указы». Сталинский прочерк, прочерк-профилятор – учредитель интервалов. Насаживать словно на пику букву за буквой, никаких промежутков, которые помогли выдохнуть или вздохнуть. Резать и склеивать, резать и склеивать: в тексте должны быть полностью вытравлены промежутки. В таком случае под промежутком с точки зрения сталинского письма понимается еще незаполненное буквой пространство (рас-стояние) между буквами и словами. Интервал – это то, что организует соположение букв между собой независимо от их отнесенности к поэтической речи и графизму, остаток речевого, что прячется в промежутке и должен быть отыскан, уничтожен, прочеркнут, поименован и претворен в букву деспота. Совершенно иначе действует поэтическая интуиция. Все скопище букв, как бы ни были выстроены их порядки – в иерархию или по линейке, кругом или решеткой – представляют собой не более, чем интервал в поэтическом материале, «птичью стаю», готовую взлететь тут же при первом сигнале со стороны поэта. Интервал переходит в промежуток. Невыразимое графически, уродуемое каждый раз письмом деспота, есть указатель ритма. То, что сталинская деспотия признает в качестве чего-то устойчивого и неизменного, буква святого текста власти, для Мандельштама лишь интервал, указывающий на промежуток, и следовательно, на полагаемый поэтом ритм, преобразующий поэтическую материю, которая никогда не обнаружит свое присутствие ни в каком порядке букв. Сталинская машина письма стирает интервалы, поэтическая графика Мандельштама множит их промежутками, ибо ими длится дыхание, непроизносимое поэтического текста. И чем более велика сила интервалов, учреждаемых деспотом, тем в большей степени всякой письмо, желающее стать шрифтом, окаменеть и сиять светом деспота, становится случайной игрой буквенных знаков, счастливое число которых никогда не может выпасть... Только потому, что деспот не любит игры, он выводит свои буквы старательно и с нажимом, тесно и без промежутков. Но тогда то, на чем так настаивает деспот – неизменность буквенного состава имен – есть знаки интервала, открывающего нам ритм сталинского террора. Согласная к согласной, и гласная – уже *микропромежуток*. Но и не всякая согласная...

Виновность

42. Быть виновным – это быть зараженным виной. Вина – род психо-социального заражения. Патетическая масса, послушная нацистскому режиму, возникает на фоне отказа от чувства национальной вины (Версальский договор). Представление о территориальной, этнической и биогенетической идентичности нации формируется одновременно с тотальной милитаризацией общественной жизни. «Желать войны» – вот лозунг, создающий всеобщий терапевтический эффект ожидания для массового сознания. Направление террористических акций строго локализуется, их острие направлено во вненациональные пространства. Бурная реакция переноса, вина нации смещается на другие национальные общности и объединения (евреи, цыгане, славяне и т.п.) Создается и выращивается с поразительной быстротой культ Внешнего врага. Сталинский террор скорее следует определить как **диффузный**, он был направлен на борьбу с Внутренним врагом, чей образ в зависимости от распространения волн террора постоянно менялся, поглощая ту или иную часть населения. Диффузность как раз и заключается в том, что врагу позволяют «овнутриться» в ближайшем к властным механизмам социальном пространстве, этот искусственный вирус лучше заражает, но не может быть в силу природы заражения быть раз и навсегда локализован в какой-либо нации, страте, группе или отдельной личности. Это открытый тип террора, чувствительного к постоянной эскалации. Точки приложения его сил, направленных против жизни, постоянно смещались, и их смещение ничем не было ограничено, разве только самим человеческим материалом, его сопротивляемостью и объемом. Насаждение образа внутреннего врага – это и есть развертывание чувства вины. «Если ты невиновен сегодня, то будешь виновен завтра!» На сцену выступает прогностика вины. Но осознать вину – значит признать не свою актуальную вину, а **потенциальную**. Личная, актуальная виновность навязывалась с трудом, под пытками и угрозой смерти близких, но зато общепризнанной оказалась вина *in potentio*. «Я не виноват, это правда, но Другой ведь он может быть виновен! не поэтому ли я арестован, что виновен Другой?» Знаковое замещение: всегда существует некто Третий (шпион, диверсант, бандит, троцкист, изменник и т.п.), из-за которого приходится страдать «честным и преданным людям». Вина смещается на анонима, но чувство страха растет, ведь потенциальная вина – это вина всех, «круговая порука виновности»; не она ли вновь оживляет древний и испытанный институт заложничества? Каждый оказывается заложником другого. Можно сказать и иначе, страх перед исчезновением рождается в тот момент, когда будущая жертва вдруг осознает тот факт, что потенциальная виновность кого-либо не зависит совершенно от какого-либо проступка. Актуализация вины каждого отчуждается в пользу самого репрессивного института. Страх перед исчезновением омассовляет. Потенциальная виновность является активным ферментом, порождающим массовый страх и беспокойство. В эпоху сталинского террора страх был непосредственно локализован в каждом человеке, вина же была ему смежна, но они друг друга подпитывали, никогда не совпадая. «Открытые процессы» 30-х годов, возродившие средневековые формы признавательной практики, театрализовали пространство суда. Театрализация позволила преобразовать судебное разбирательство (с его рутинностью и поиском «истины») в сцены публичной казни. Все эти впечатляющие моменты казни развертывались перед сталинской публикой на уровне речи и казалось не имели ничего общего с чисто физическими карательными эффектами. Однако можно указать на особый статус речевых взаимодействий, которые со всей откровенностью дублировали физическое уничтожение обвиняемого; слова обвинения не просто обвиняют и свидетельствуют, они совершают над обвиняемым вид действия, которое в процедурности исполнения вторит отдельным этапам телесного уничтожения. Речевые экстазы обвинителей получали особое измерение в аудитории зала и становились квази-физическими операциями, с чьей помощью признающееся тело «врага-жертвы» переходило на другой уровень существования, уже никаким образом не связанное с вынесенным приговором. Тот, кто был обвиняемым, тот, кто признавался, надеясь на пощаду, не мог себе представить, что вся эта зоологическая риторика обвинительных речей будет иметь столь решающее значение для их судьбы. В этих театрализованных сценах «вербальных казней» – два этапа: первый, это подготовка и произнесение слова-признания. Будущая жертва должна признаться дважды: сначала под пыткой, а затем повторить то же признание публично, как бы театрализовать его и причем

так, чтобы публика в зале расценила его как естественное и совершенно спонтанное. Почти все жертвы сталинского террора недооценивали функцию признавательного слова, полагая, что умный человек поймет, что происходит. Они не заметили, что изменилась радикально функция произносимого слова: оно стало основным элементом признания в вине. Слово не есть то, что может произноситься свободно, в разбросе колеблющихся, условных семантических потоков. Слово включается в жесткое сцепление деспотического письма. Произносимое слово – признание – приговор. Иначе говоря, слово перешло в письмо, и оно возможно лишь настолько, насколько оно переводимо в письмо-приговор, которое в свою очередь трансформирует тело жертвы. Поэтому так легко может быть уничтожено, изъято, стерто высказанное слово, ибо деспотическое письмо, «присваивая» его себе, делает ненужным естественную вариацию смысла, рефлексию, восстановление контекста и множество других необходимых коммуникативных условий. Жертвы судебного террора оказались слишком хорошими актерами, чтобы приговор был отменен или смягчен (да, такой цели и не ставилось). Другой этап: приговор к смерти. Приговор, вместо того, чтобы «объективно» соотносить признание с количественной мерой наказания, всегда оставался приговором к смерти. Вина обвиняемого представлялась настолько чудовищной, насколько несоразмерной какой-либо статье закона, что единственным выходом из этого юридически-правового тупика была смерть. Вопрос может заключаться лишь в том, какая это смерть? Не та смерть, которая ожидает обвиняемого, а другая, более реальная и наглядная, вступающая в свои права прямо на глазах публики. Смерть, которая отнимает у обвиняемого его человеческий образ, низводящая его на уровень зоосущества, по отношению к которому всякое применение закона выглядит или юридическим нонсенсом или чрезмерной гуманностью. «Бешеные псы», «звери», «нелюди» и т.д. – вся эта зоологическая метафорика оказалась приведением приговора в исполнение тут же, на этой сцене. Обвиняемый как бы регрессировал по лестнице животного метаморфоза в существо, по отношению к которому справедливым будет любое террористическое действие. В сущности, последующая казнь будет ничем иным как продолжением этой регрессии, устремляющей тело жертвы к минус существованию, исчезновению.

«Электричество, вулканы, свет, громы,
“молот” – все фалл и фалл. “Космогония”,
символы мира – все фалл и фалл. Сосна,
пихта, ель, особенно, шишка еловая, вид дерева,
купол неба – все фаллообразно. Все – “он”,
везде – “он”».

Василий Розанов. Из писем к Голлербаху.

«Остался другой человек – огромный хам, в одних штанах на пуговице и без рубашки.
– Скидавай портки
Перри начал снимать рубашку.
– Я тебе сказываю – портки прочь, вор!
У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза.
– Где ж твой топор? – спросил Перри, утратив всякое ощущение, кроме маленькой неприязни. как перед холодной войной, куда его сейчас сбросит этот человек.
– Топор! – сказал палач. – Я без топора с тобой управлюсь.
Резким рубящим лезвием влепилась догадка в мозг Перри,
чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу.»

А. Платонов. Эпифанские шлюзы.

Фаллос и анус

43. Фаллократическое письмо Сталина поддерживает достаточно высокий по интенсивности уровень сексуального насилия. Движение письма как акт тотальной кастрации. Империя евнухов, профиль деспота – лезвие топора, глаз деспота проектирует чистоту разреза, он понимает толк в чистоте, краткости, простой линии письма. В этом некая парадоксальность самих процедур кастрационного плана: никакой крови, никакой зримости само акта преступления-наказания, никакого проявления чего-либо такого, что указывало бы на власть, тем более на Деспота, который казнит. Нет никаких палачей, ни жертв. Кастрация, или перевод сексуальной энергии, ее взымание, проходит на иной основе и по другому принципу, чем это можно было представить. Казнь не зрелище, как и кастрация, которая вытягивает последнюю энергию жизни, не может быть объяснена в терминах прямых психоаналитических аналогий. Кастрация – нечто большее, чем просто операция, хотя и чудовищная. Не убивать, а приговаривать. Нужны не просто тела кастрированные, а тела евнухов. Однако в пределах этой общей стратегии кастрации существует сильная оппозиция, которую трудно не заметить: фаллос-анус. Или точнее, и то, что я бы назвал нигде не провозглашенным лозунгом сексуальной агрессии сталинского режима: ФАЛЛОС ПРОТИВ АНУСА = КАСТРАЦИЯ. Прежде чем дать пояснение этому террористическому лозунгу, хочу сразу же оговориться, что в известной традиции стало принятым отличать фаллос от пениса по символической и семиотической функции, которую он играет во многих высказывания, представления и образах, точно таким же образом и по тем же функциям я отличаю анус от фекального отверстия. Иначе говоря, фаллос и анус не только могут быть органами, функционирующими в режиме человеческого организма, его физиологии, сексуальной функции и т.п., но еще и органами, чьи функции заново определяются террористическими машинами, и именно последние функции могут и выступают в качестве первичных по отношению к своим натуральным образцам. Так копия становится оригиналом, более того создает все условия существования для оригинала. Фаллос и анус могут функционировать как центры определенных эрогенных зон (оральная, анальная, генитальная фазы становления детской сексуальности, предложенные Фрейдом, в то время как Киркегор ввел эстетическую, этическую и религиозную стадии в идею развития «взрослой жизни», которые, в сущности, и должны повторять по-видимому это фрейдовской выделение эрогенных зон. И мы убеждаемся в этом, когда обращаемся к концепции Э. Эриксона, попытавшегося соединить эти две концепции), как символы приватного пространства личности, я бы сказал как символы несоциализуемого поведения, наконец, и как знаки определенного вида сексуальной репрессии, которая осуществляется с их помощью, но сама остается невидимой социально и телесно в террористическом пространстве. Этот лозунг – фаллос против ануса – можно развести по сериям сексуального насилия в их одновременном поле взаимодействия, которое экспонирует нам эрогенные зоны сталинского и гитлеровского человека:

фаллос---глаз---письмо (кастрация как акт исчезновения)
анус---рот---речь (кастрация как гипноидальный акт)

43.1. Для каждой серии, естественно, был важен режим последовательный, линейный, но здесь нужно также уметь вычитывать и все вертикальные взаимодействия и смешения: фаллос есть (не есть) анус, глаз есть (не есть) рот, письмо есть (не есть) речь. По отношению к каждой фаллократической серии терминов все другие серии могут функционировать только в снятом виде: они существуют лишь постольку, поскольку отрицаются. Полное замещение телесных органов в границах одной телесной схемы, которая совпадает с фаллократизированным образом Деспота. Деспотического тело сталинского режима движется в двух этих измерениях: **вдоль** линии, которая направлена к кастрации, под которой мы понимаем не собственно, кастрацию фиксированную, само зрелище кастрации, а, точнее, приходится назвать (смерть обесценена исчезновением, как сам акт кастрации на деле есть лишь ограничение сексуальной активности до определенного минимального предела с помощью труда и принуждения к труду). И поперек линии, и

как бы все-таки во след ей, линии направленной против ануса, то, что я бы определил как педерастическую атаку (возможно, в смысле лосевского определения «духовной педерастии платонизма»). Специфика сталинского террора, если о таковой вообще можно говорить, заключалась в том, что была сделана попытка построить новое мужское тело. Поэтому террористическое действие прежде всего направлялось против основного очага спонтанной сексуальной рецептивности: против мужской сексуальности, не сексуальности как таковой, но против лишнего затрачивания энергии, против того, чтобы сексуальная активность была спонтанной, и тем более активностью обращенной на само тело. В пользу фаллического символа, а теперь это **Деспот-Евнух**. То есть это не сталинская фигура, а иная, фигура гитлеровского **Деспота-Гермафродита**. Важно было указать как моральная форма распределяется в пустой форме деспотической, и научиться их отличать. Деспот-Евнух – это в какой-то степени и жертва, отреченность, скромность, фигура монаха, беззаветность, преданность делу, никакой отвлеченности от цели, достижение высшей экономии во всем, что касается областей, где должен удерживаться чистые основания симбиотического контакта с массой, и этот контакт идет через определенные эмоциональные (культ аскезы) структуры.

43.2. Другое дело сама карательная процедура смещенная в пластику социально невидимого. Вполне завершенный карательный жест сталинской эпохи: **выстрел в затылок**. Империя евнухов? – это верно! Но это лишь **верхний** «чистый» этаж, нижний занимает трудовые и карательные лагеря, это словно смещение самой анатомии, отбросы общества, смешения, без права на переписку, остойник, и здесь все возможно, ибо само наказание теперь не демонстрируется как таковое, его не обсуждают, оно есть исчезновение, и оно наказание сам акт экзекуции оказывается на самом низшем этаже, подвальной его части. Место казни – обычно подвал, замкнутое, закрытое, полутемное и грязное помещение. Массовые расстрелы складывались из множества индивидуальных казней тэт-а-тэт: пуля/фаллос-затылок/анус. Педерастическая атака, уничтожающая символику ануса, повторяет себя в одиночном выстреле. Это не убить, и это даже не наказать, а пристрелить как собаку. Освободить, можно сказать, от ненужных мучений, ибо этот человек уже не человек, а дерьмо, отбросы, и его просто надо освободить от него самого, помочь ему, ибо он уже есть нечто, что исчезло, более не человек, как человек он не существует. Хочу еще раз подчеркнуть, что в сталинскую эпоху исчезновение людей стало нормой существования в страхе террора. Человек исчезает, но не умирает, смерть не произносится и не выговаривается, хотя, конечно, требования смерти со стороны самой массы могут дирижироваться и нарастать в зависимости от истерии самого террора. Сталин – это бесспорно фигура пантеона Отцов-Кастраторов. И это не просто понять, так как напрашиваются все аллюзии связанные так или иначе с фрейдовской теорией кастрации.

43.3. Нет ничего заведомо «странного» и даже хоть немного шокирующего в этой фаллократизированной картине бытия власти. Тем более, если признать, что в русской философской культуре сохранялся столь сильный интерес к исследованию платоновского Эроса. Стоит упомянуть о открытом фаллическим культе у Розанова и «уклончивом, неясном» у Флоренского. Но более любопытен А. Лосев, который (может быть, наиболее резко и откровенно), с каким-то навязчивым воодушевлением (практически во всех своих заметных трудах) исследует каждую эстетическую эпоху с точки зрения соотношения платоновского Эроса и тоталитарной Власти прямо указывая на их идентичность и смысловую, физиологическую, технологически-телесную.

> «Явно, что только очень большая логико-объективистская страсть могла привести столь энтузиастически настроенного философа, как Платон, к такому холодному, как бы электрическому освещению разума. Вся диалектика “Парменида” представляет в этом отношении некий ровный и холодный свет, без теплоты и ласки, какую-то свирепую и жестокую логическую систему, какую-то прекрасную и мертвенную отточенность статуи. Тут нет глубины, нет чувства. Тут нет любви, нет брака. Это действительно какая-то бесплодная, в смысле ре-

ального рождения, педерастия, объект которой – холодный и прекрасный юноша. Зачарованность, какой-то холодный блуд, что-то лунное и гипнотическое чувствуется в этой диалектике. Она невыносима для живого человека. Она – то, чем мыслит сама статуя. Это – какое-то разгорячение в рассудке, неистовство и экстаз – холода. Впрочем, такова и вся античная скульптура. Дорого покупается ее величавая красота»*.

«В скульптуре, ввиду полного взаимопроникновения идеи и материи, мы имеем нечто такое, что делает идею более формальной, а именно, безличностной, хотя и одушевленной, а тело более идеальным, т.е. более холодным, хотя все еще живым телом. Получается в результате статуя, живое, безличностное существо, которое, с одной стороны, полно жизни и энергии и есть именно живое тело, а не что-нибудь иное (например, не бездушная масса, как в архитектуре), с другой же – совершенно лишено всякой жизни, холодно, бесплодно, безжизненно, почти, можно сказать, мертво. Это вызывает необходимость дать более четкую мифическую формулу «античного символизма», которая бы не просто говорила о теле (ибо тело есть и в христианском мироощущении и даже играет там роль не меньшую, чем “дух”), но подчеркивала именно эту безжизненную жизненность тела, безличностную и бесплодную его плодовитость, ту самую “общность”, в которую обращается здесь, как мы говорили выше, неделимая и неповторимая индивидуальность духа. Надо придумать такое тело, в котором было подчеркнуто, что это именно тело, живое тело, а не дух и не душа, но так, чтобы в то же время общая идея жизни была дана не личностно, и не духовно-индивидуально, а именно как общая идея, как безразличная стихия жизни. При этих условиях мы получаем не тело просто, не статую, а *только один фаллос*, фаллос как таковой. Известно ведь, что всенародный вынос фаллоса практиковался в Элевсинских мистериях. *Фаллос и есть*, по моему ощущению, *основная интуиция платонизма*, его первичный пра-миф. Не свет просто, не освещенное тело просто, но именно фаллос, напряженный мужской член со всей резкостью своих очертаний. Кроме того, поскольку основным ядром в платоновской идее является именно эйдос, то речь может идти только о мужском поле. И не фаллос в своих функциях реального оплодотворения и деторождения, – нет, далеко не это есть платонический пра-миф. Нет, это, может быть, какой-нибудь иудейский (или еще иной) пра-миф. А платонизм строится не на этом. *Платонизм строится на непорождающемся фаллосе, на фаллосе без женщины, на однополой и безличностной любви*»**.

«Эрос нужно толковать теперь не как просто отдельное существо. Оказывается, для Платона весь мир, космос есть не что иное, как огромный фаллос, огромный Эрос...»***.

Тоталитарная власть проявляет себя через захват и постройку идеального тела, оно-то и будет этой пустой формой, куда она направляется свою либидонозную энергию, где разыгрывается весь террор платоновского Эроса. Общая схема такова: платоновское тоталитарное государство (а, следовательно, и сам платонизм) выражает себя от эпохе к эпохе в определенном фаллократическом культе, причем, объекты насилия сексуального могут отчасти меняться, получать все более полиморфные черты и качества, только сексуальное насилие остается неизменным. Космос платоновского Эроса погружен в фаллический культ. Статуя прекрасного мальчи-

* *А.Лосев. Очерки античного символизма имифологии. М., 1993. С. 661.*

** *Там же. С. 677-678.*

*** *Там же. С.679-680.*

ка (эпоха античного символизма), **титаническое тело** (эпоха ренессансного символизма), **садистское (статуированное) тело** (эллинско-римский символизм). Как бы сексуальная энергия некая избыточность и мощь находило свое проявления в определенной видах сексуального совращения, причем, это сексуальное совращение зависело в свою очередь.

Суицид. Две политики террора

44. Достаточно сделать небольшой экскурс в наше ближайшее прошлое, чтобы увидеть, насколько мы еще остаемся пайщиками становления неоимперской власти. Очевидно, что в сталинскую индустриальную эпоху террористические акции были непосредственно обращены к массовому человеческому телу, они не были локализованы на человеческом индивидуальном теле: подвергались пыткам не тело, а тела, дознанию, устранению и исключению. казни и голоду, насильственному перемещению и тяжкому подневольному труду. Изобретались все новые и новые карательные средства для того, чтобы сделать индивидуальное тело (с его памятью, интимной жизнью, судьбой) социально-политически, сексуально и национально невидимым. Во имя чего? Во имя создания нового человека (советского). Коллективной (коммунальной) телесности как основного энергоресурса программы индустриализации. Пространство повседневной жизни и образы «светлого будущего» определялись тем, что оставалось социально невидимым, бериевской картой трудовых лагерей. Власть действительно могла представляться чудом сверх продуктивности, во всяком случае так представлялось ей самой. На самом деле невидимые рабы ГУЛАГА как создатели материального богатства, самый дешевый труд как самый продуктивный. Единственным препятствием для этого типа власти всегда оставалась Природа. Можно даже сказать. что деспотическая власть, во всех возможных схемах тоталитарного опыта, существует только до тех пор, пока существуют людские и природные ресурсы, пока существует бесконечная по своим ресурсам Природа, то есть Природа как Миф. Эта власть космократична, ибо решительно отрицает Историю.

Вы-ставлять и исчезать. Значение ГУЛАГА

44.1. Из двух реальностей, существовавших в эпоху сталинского режима, точнее, сверхреальностей одна является **исчезающей,** предел ее невидимого существования ГУЛАГ; другая же, **себя вы-ставляющая**, и компенсирующая исчезновение первой, дается в лучезарном представлении монументальных декораций, что достигает своего наивысшего выражения в сталинском диснейленде тридцатых годов – ВСНХ. Особое место, подземное, занимают Метрополитены, воздвигавшиеся на месте снесенных церквей, и обозначающий доступность невидимого-подземного. Магия выставки – это магия сверхпродуктивной власти. Во имя этой второй декоративной, фасадно-лицевой, прямолинейной реальности идет тотальный отбор все новых и новых воображаемых тел-манекенов власти: скульптурных, архитектурных, театральных, литературных, кинематографических, парадно-военно-физкультурных. Сталинский человек – не более, чем муляж. Все эти тела-манекены, все эти милые и торжествующие сюжеты изобилия и имперской гордыни, с пространством, скользящим в лазурную даль, где они обозреваются – весь этот странный ландшафт сталинской эпохи, принявший облик «мертвой природы», является сверхреальностью, то есть реальностью, которая реальнее, чем сама реальность. Для реальности повседневной жизни остается узкий клочок социума, там еще удерживаются некоторые знаки межчеловеческих отношений, не искаженных страхом исчезновения, но они постоянно под угрозой. У них отнято право указывать на собственную реальность, свидетельствовать в свою пользу. Но ГУЛАГ – не меньшая сверхреальность, чем ВСНХ. Поль Верилио замечает: «Что такое ГУЛАГ? Это разновидность антигорода, который существует на невидимой **территории**». Это так и не так. ГУЛАГ – не антигород, это совершенно иное пространство, и прежде всего лагерь, одно из пристанищ массы, которая специфическим образом в нем организуется. ГУЛАГ может порождать города-лагеря, но он сам не может быть городом. В таком случае и ВСНХ и МЕТРОПОЛИТЕН – это тоже не города, а специфическим образом органи-

зованное пространство, в котором, можно сказать, исчерпывающим образом упорядочено все воображаемое террористического сознания. Эти сады-парки-выставки-музеи-мавзолеи-саркофаги демонстрируют нам совершенно законченное и «хорошо стратифицированное», единое пространство непрерывных замещений мест, изотопию, но не гетеротопию пространства террористического. Если это все-таки не столько города, а скорее территории (в том смысле, какой сегодня мы придаем этому слову), то они отличаются именно тем, как они организованы, как и насколько заселены. Лагерь – это остановка в пути, разбить лагерь, временное жилище, которое легко сменяется и уходит из памяти. Лагерь – это одна из точек на карте территории по именем ГУЛАГ. Сверхреальность ГУЛАГА в том, что он будто и не существует и в то же время является полигоном уникального социального эксперимента (уникального в том смысле, насколько это «египетское» предприятие), где достигаются удивительные результаты: это невидимая мегамашина (именно в том смысле, какой этому понятию придавал Л. Мемфорд), если конечно, подневольный рабский труд, и сама энергия массы признается в качестве уникальной и единственной социальной энергии*.

44.2. ГУЛАГ – это территория социального карантина, то есть санитарная территория. Чтобы избежать заражения, необходимо изолировать носителей инфекции. Вот почему ГУЛАГ скорее описывается в границах этого страха перед заражением (каким бы оно ни было). Действие власти (тоталитарно-деспотическая модель) таково, что изолируя определенную часть населения, оно вместе с тем не стремится добиться излечения. Напротив, лагерная мир – это отстойник, плохо дифференцированный и неуправляемый: подневольный труд, насилие, тяжкие климатические и трудовые условия, недостаток питания и санитарии приводят к тому, что граница Гулага оказывается границей эпидемологической. Хотя, конечно, нужно говорить и о том, что лагерь предстает еще и как воспитательно-образующая практика, что в самом лагере существует свои внутренние границы и свой страх перед заражением, который не совпадает с тем страхом, который формирует внегулаговые пространства общества, но тем не менее по своей природе и причинам его вызывающим ничем не отличается.

Число и экран. Рождение массы

45. В сталинскую эпоху обречен был исчезнуть громадный слой, «горячей», революционной культуры, некая удивительно плодотворная традиция экстатического переживания мира. Революционный оргазм 20-х годов стихает, уступая свое место холоду нового пространства, террористического, происходят необратимые перемены в восприятии времени, чувственности и пространства (консервирующие, охлаждающие тенденции захватывают и искусство, побеждает «новый классицизм»)... Прежде чем сталинская машина террора приступила к своей «работе», мифология восставшей массы, массы «горячей» переживала свой триумф. Великим триумфатором массы был С. Эйзенштейн. Как известно, Сталин не любил революционной массы: террор как ортопедия массы и должен был воспрепятствовать ее самопроизвольному зарождению и непредсказуемым порывам. Это, конечно, не значит, что он не хотел подобно Гитлеру иметь «свою» массу, но эта масса должна быть иной, уже не революционной, а массой, открытой террористическому перекодированию в любой момент времени и любой точке социального пространства, застывшей, «холодной», легко проницаемой для страха, казни, перемещения и исчезновения. Эта масса должна формироваться вокруг фигуры Деспота. Средства террористического перекодажа: парады, демонстрации, суды, лагеря, стройки и т.п., все это плотные, компактно организованные пространства.

45.1. В известном беседе с Юзовским Эйзенштейн подробно поясняет, как сделать фильм «Иван Грозный» понятным миллионам:

* *Л. Мемфорд.*

«– Интересно, как примут, – беспрерывно повторял он. – Надо сделать много просмотров – историки, писатели, художники и массовые просмотры. Массовые, чтобы тысячи и тысячи одновременно смотрели, лучше будут воспринимать, в тысячу и в десять тысяч раз лучше: если я один из ста тысяч – я лучше воспринимаю, чем один из десяти тысяч. [...]
– Значит, если я один стотысячный, я больше пойму, чем один из десяти тысяч?
– Обязательно! Такой расчет.
– И точка зрения?
– Вероятно, я так воспринимаю – с точки зрения миллионов, которые говорят через меня одного, и раз уж так, то и доверяются мне, если я позволю себе то, что не входило в расчет этих миллионов. Это я вам говорю не для интервью, я в самом деле спокойно себя чувствую, когда управляю крупными и объемными величинами. Конечно, может быть и так, что весь миллион будет чувствовать себя как один-единственный робкий, несчастный, и нахальный – но это уже не моя сфера. Словом, я не люблю так называемого психологического искусства – душевный микрокосм не привлекает меня, я больше хотел бы исследовать тайны космоса...Есть психология масс и народов, стран и государств, морей, пустынь и гор, и эта среда весьма мало исследована»*.

В исследованиях «О стереокино» и «Динамический квадрат» Эйзенштейн обсуждает физический и воображаемый статус экрана: в одном случае, речь идет о преодолении экрана, или его превращении в особую реальность, – *реальность-между*, – соединяющую реально существующее или существовавшее событие со зрителем, который его воспринимает как реальность именно благодаря необычным отражательным возможностям и свойствам экрана. Так создается экранный эффект *реальности*, но сам экран преодолевается, поскольку лишь служит местом соединения реальности и зрителя. В другом случае, экран осознается как техническое устройство, от которого зависит наиболее полное и совершенное передача образа реальности. Действительно, можно сказать, что в силу своих ограниченных технических и пространственных параметров экран обладает силой сопротивления, и может препятствовать полному развитию чувства реальности у зрителя. Как добиться наиболее сильного переживания реальности экранной в качестве реальности? И можно ли развить и углубить чувство реальности с помощью улучшения технических характеристик экрана? Экран как кусок белого полотна, квадратный, двумерный и плоский. Возможности экрана кажутся Эйзенштейну неисчерпаемыми, – этот белый квадрат материи не имеет для него никаких материальных, фигуративных и глубинных ограничений. Если все же и имеет, то его можно совершенствовать (полиэкран, стереоэкран и т.п.) Может быть, стоит изменить размер и величину экрана (не только панорамный, овальный, но вытянутый по горизонтале, или может быть по вертикале или может быть меняющий свои физические размеры по ходу демонстрации изображений). Но, в конечном итоге, и последующее развитие технических возможностей кино еще раз подтверждает это, проблема физической реальности самого экрана не столь существенна, поскольку экран – это, в сущности, лишь некоторая поверхность способная к отражению проецируемых на ней образов-теней и не более того. И в силу этого значение здесь приобретают сами образы, и то, что мы называем экраном и есть этот экран-образ, или он должен во-ображаться, т.е. наделяться образами, чтобы существовать в качестве экрана. Вот почему экран – это всегда, по словам Эйзенштейна, динамический квадрат, где вертикальный поток представляемых образов пересекается и дополняется движением горизонтальных, и всякий образ выходит за собственные границы во внеэкранное пространство, которое-то и является истинно экранным пространством. Таким образом, для Эйзенштейна экран – не средство познания или *отражения реальности*, а скорее род реальности более высшего порядка. А это значит, что экран не столько отражает и познает, сколько создает саму реальность, являясь по отношению

* *Эйзенштейн в воспоминаниях современников. М., 1974. С. 406.*

к ней более высшей реальностью, *реальностью не порожденной, а порождающей, natura naturata*, *natura naturans* (Б. Спиноза).

46. Попробуем пояснить это различие на материале концепции *pathos`a*, которую Эйзенштейн разрабатывал в своей знаменитой книге «Неравнодушная природа». Органичность ландшафтного образа устраивает Эйзенштейна лишь до того момента, пока он разрабатывает основные принципы гармонического, «музыкального» переживания пейзажа («сюита туманов» в «Потемкине»), которые все же остаются для него переходными и дополнительными образцами. Не они лягут в основание новой «революционной» метафизики чувственности, экстатической, откуда, собственно, и начинается кинематограф Эйзенштейна. Спиралевидная кривая, кривая органического роста уступает свое место экстатической («диалектической» или «патетической»), кривой социального развития. Органические закономерности недостаточно выразительны. И прежде всего потому, что они не в силах передать мощь пластических образов, резко нарушающих общепринятые изобразительные конвенции. Речь идет здесь, конечно, о природе экстатического переживания и его пластических возможностях. Действительно, разве можно отвернуться от этого громадного психического опыта, что был накоплен в западноевропейской культуре за последние два тысячелетия, – экстатика святых и революционеров, визионеров мистиков и сновидцев? Экстатические образы мира отрицают равновесные и в себе успокоенные образы. Поздний Эйзенштейн пытается достаточно систематически осмыслить отношения между органическим и патетическим, ростом и развитием, пытаясь разрешить по своему основную оппозицию его бурной и трагической эпохи, оппозицию Природы и Истории: он распространяет законы pathos`a на органические явления и объекты; то, что он называет законами развития, – на законы роста. Часто используя в своем языке «гегелевские» фразеологизмы, он утверждает принципиальное положение в теории пафоса: «...скачкообразный ход из качества в качество есть не только формула роста, но уже формула развития – развития, вовлекающего нас своей закономерностью уже не только как единичные, «вегетативные» единицы, подчиненные эволюционным законам природы, но уже как единицы коллективные и социальные, сознательно участвующие в развитии...»*. И далее в пояснении «скачка» из качества в качество: «Момент свершения мы понимаем здесь в смысле тех точек процесса, через которые проходит вода в мгновение становления паром, лед-водой, чугун-сталью. Этот же выход из себя, выход из состояния, переход из качества в качество, экстаз. И если бы вода, пар, сталь могли психически регистрировать свои ощущения в эти критические моменты – моменты свершения скачка, они сказали бы, что они говорят [с] пафосом, что они в экстазе»**. Природа историзуется через «скачок» – от единицы к массе (коллективам), – и вот что важно: природа и история совмещаются в самому «скачке», но на микроскопическом уровне, в движении материи, тем самым эти два термина известной оппозиции нейтрализуются, и их дуализм «снимается» благодаря «третьему», который не может быть включен в очерченную культурой оппозицию Истории-Природы; и этот «третий» и есть то, что Эйзенштейн называет сверхорганичностью, и то, что можно назвать **интенсивностью живой материи**. История должна вернуться в материю, и, конечно, материя не понимается как чисто физический, косный и инертный субстрат живого и мертвого, материя – это энергия, движение и борьба сил, живой хаос ритмов, вибраций, пульсаций; все, что существует, – лишь частичные манифестации материи, и мы, как пишет Эйзенштейн, «приобщаемся к осуществлению «закономерностей бытия, материи как непрерывного становления» (выд. мной – *В.П.*)***. Таким образом, Природа и История оказываются лишь терминами культуры, некой абревиатурой опыта сверхорганического становления. В эпохальном поле вражды и притяжения органического и исторического перевес получает идея Становления. Иными словами для Эйзенштейна историческое значимо лишь в той мере, в какой оно является способом, каким силы материи ускоряют развитие сил органического роста, заставляют их выйти за свои пределы и нарушить собственный закон, «приводят в экстаз», Вместо ло-

* *С. Эйзенштейн. Избранные сочинения в шести томах. Т. 3. С. 69.*

** *Там же. С. 70.*

*** *Там же. С. 208.*

кального, «вегетативного», индивидуально природного тела появляются иные типы телесной практики, тела коллективные, находящиеся в непрерывном социальном становлении, тела массы, организованные по законам патетического бытия. И эти «тела» столь же исторические, сколь и сверхприродные. Если быть последовательным, то придется признать, что «революционный» кинематограф Эйзенштейна является особой оптически-экстатической машиной, которая работает исключительно в пределах «живой материи», на глубине ее микроскопических сил и вибрации, производя массовые и коллективные тела как знаки свершившейся Истории, чье место занято теперь Сверхприродой. И развитие такого рода экстатической телесности с неизбежностью приводит нас к высшей стадии развития органического, – сверхорганическому, а с его установлением утверждается и конец Истории.

47. Эйзенштейновский революционный пафос всегда опирался на неизбежность и необходимость революционного насилия, которое он понимал достаточно широко, и не столько в социальном контексте эпохи, но гораздо шире: кинематограф как вид космо-теллурической науки. Революционное насилие – ответ Природе, но природе косной, темной, тормозящей, подавляющий историческое измерение самой «живой материи», и в этом смысле он видел и саму Революцию как некий исторический катаклизм природного порядка, как Взрыв. Искусство не только выражало его, но и впервые открывало его действие в пределах самой эпохи. Иначе говоря, и одной фразой – революционное насилие оправдано как событие космологическое. Вот почему оно не может быть квалифицировано в терминах добра и зла, справедливого и несправедливого, лжи или истины. Революционное насилие законно в силу его беззаконности, оно природно, космично, и только поэтому оно исторично. Вот почему, когда мы присматриваемся к особому дискурсу революционному Эйзенштейна, дискурсу экстатического, мы не должны стремиться его понимать в терминах юридически-правовых или моральных, но как движение природных стихий. Революционное насилие – это как бы вышедшая из своих пределов Природа. Природа, ставшая Историей. И это всегда «полыхание огня» (Огонь), «разливы рек и потопы» (Вода), «бури и смерчи» (Ветер), «смещение гор, извержения» (Земля).

48. Отсюда все ошибки и недоумения его критиков, подозрения в искажении «реальных фактов» истории, преувеличения, и разного рода образная избыточность, которая должна быть осуждена с точки зрения экрана-познания, экрана-повествования, экрана-отражения и любых других экранов. Экран Эйзенштейна – тотальный экран, он первичен и не может быть порожден. Это также объясняет и то, почему он всегда искал средства прямого воздействия на сознание зрителя, настолько прямые, чтобы не могло возникнуть никакого сомнения в том, что образ создаваемый на экране уже воспринят и усвоен, и что именно он и есть элемент сознания воспринимающего. Другими словами, сознание экрана невозможно отделить от реальности экрана, они неразличимы в процессе восприятия, поскольку сознание само есть продукт этого разгула экранных образов. Кинематографический экран – больше не кусок развернутого полотна-квадрата, на которое проецируется изображение, а нечто неизмеримо большее. С помощью экрана изобретается новый способ социального производства, производятся тела массы. Экранизировать массу – это вовсе не значит отражать или копировать реальные, эмпирически наблюдаемые скопления людей, это значит ее впервые создавать. Экран как сверхреальность и поэтому есть нечто неизмеримо большее, чем «реальность». Великая утопия массы движет эйзенштейновским экраном и она настолько тотальна, что в состоянии поглотить и заново упорядочить любые событий не экранной реальности, противостоящие ей, и как казалось до Эйзенштейна, совершенно непроницаемые, «скрытые», невидимые. Лишь один экран в силах управлять таким пространством-времени Истории, который может всякий раз возобновлять революционное действие в той мифологической полноте, что недоступна реальности, и лишь он один может выдержать любое возрастание массы, как бы ни был быстр и сокрушителен ее рост, ибо она растет не сама по себе, а исключительно благодаря его возможностям воспроизведения массовидного. Смотрящая масса нарастает в чудовищной прогрессии 1-100,1-1000, 1-100000, 1-1000000. Один как тысяча, десять тысяч, сто тысяч, миллион...Один как все и все как один. Но в том дело, что «один как все» (фор-

мула «революционного братства»), а в том, что масса и не предполагет выделение индивидуальной единицы в акте самого революционного действия. Полнота воздействия на зрителя достигается провоцированием цепной реакции массового восприятия. Последняя же в свою очередь регулируется ритмом возрастающего числа. В «Стачке», «Броненосце Потемкине», «Октябре», «Старом и новом» можно видеть как формируется экранная масса, как она растет, движется, побеждает и гибнет. И как любил ей повелевать сам Эйзенштейн. В сценарии финала «Стачки» бросается в глаза числовой расчет движений массы-толпы: 50-100-1500 человек бегут, падают, остаются лежать, вздымаются частоколом рук; движение кадров расстрела убыстряется в прямой зависимости от того, как часто человеческий поток рассекается залпами выстрелов. Ритмическое число – одно из условий существования экранной массы. Экран и только он позволяет нам видеть массу и участвовать в ее творении, он обеспечивает ее рост, плотность, быстроту, границы рассеивания. И в сказанном нет ничего парадоксального. Действительно, экран разнообразием дальних (панорамных) и близких планов умножает число смотрящих, и это умножение нельзя понимать как простой сосчет зрительских посещений или комбинаций проекций, ибо те, кто находятся перед экраном не просто смотрят, а «выходят из себя», находятся «в экстазе», и только в силу подобных сильных переживаний они и становятся той подлинной массой, которую рождает кинематограф. Мы чувствуем массу тогда, когда нам подсказывают пути к омассовлению собственного индивидуального опыта переживания, одинокое и автономное зрительское «я» должно быть уничтожено. Омассовить смотрящую единицу. Масса должна увидеть себя в качестве массы, и масса видящая себя и есть та масса, которая не имеет вне экрана иной сферы физического существования в Истории. В таком случае, экран выступает в качестве некоего перцептивного протеза, с помощью которого масса смотрящая отождествляет себя с массой показываемой. Эти две массы обязательно должны совпасть в едином восприятии. Именно поэтому отдельная смотрящая единица благодаря посредничеству экрана умножается до тысячи, десятка, сотни тысяч, смешивается со всеми другими единицами в единой ритмической кривой, которая действительно может вовлечь в революционное действие миллионы. С той интенсивностью, с какой экран осуществляет свое воздействие, и в том же порядке нарастаний числа зрителей и движется само экранное изображение, которое теперь становится местом действия массовидных тел. Одинокое индивидуальное тело со всеми «переживаниями» должно пуститься в опасное путешествие по ритмической кривой возрастающих чисел, стать массовидным телом, чья быстрота уничтожает всякую память о «я», «субъективности» или «сознании».

49. Число массы выступает для Эйзенштейна в двух основных измерениях: *образном и понятийном*, причем, последнее не растворяется в первом, а как бы «выплескивается» за экран, сливаясь с логическим условиями патетического дискурса. Поэтому число, как в первом, так и во втором измерении, не является чисто количественной мерой, объединяющей инертное множество дискретных единиц, тем более не является калькуляцией или сосчетом.Число массы качественное и выражает собой ритмическое соотношение групп единиц, оно – ритм, сохраняющий все свои неантропоморфные признаки.

> «А цифры?? – комментирует Эйзенштейн «числовые» кадры «Старого и нового». – Цифры роста количества
> членов артели? После того, как отыграли фонтаны – заиграли цифры. Как же это можно запомнить? Правда, цифры тогда в 1928-1929 годах, менее внедрялись в восприятие как средство новой социалистической выразительности. Это пятилетка научила нас видеть пафос в вырастающих цифрах, как в огне баррикад...
> Цифры в “Генеральной линии” работают уже не по линии образной, но следующим разрядом – понятийным. Смена цифр дает понятие о росте артели. Понятийный элемент вовлечен в игру на последний скачок выразительных средств – уже за пределами образа...
> Скажем – голая надпись. Дать цифры – “количество членов такое-то”. А поня-

тийным элементом, приближенным к образному решению. и будут цифры, смонтированные как элементы действия. *Цифровой рост есть, по существу, чистое понятие.* Как рост нашей промышленности. Рост показателей успеваемости. И этот чисто понятийный элемент возвращен обратно в свой образный смысл. Цифры растут и действительно... вырастают. Цифры становятся крупней не только своим содержанием – 15, 27, 34, но и... формой, то есть размером по кадру»*.

Присмотримся к некоторым важным аспектам концепции Канетти (прежде чем вновь вернуться к Эйзенштейну). Вероятно, масса или массовидные тела – предельный случай нарушения устойчивых, повторяемых и институционально закрепленных социально и жизненно значимых связей людей, ее зарождение невозможно в хорошо стратифицированном социуме, где множественные отношения между индивидами регулируются с помощью различных дистанций, рангов, иерархий, обеспечивающих национально-территориальную, антропологическую или личностную идентичность. Масса образуется в социуме, но остается экстерриториальной и не допускает внутри себя никаких стратификаций и неизменных дистанций, в противном случае, она распадается. Можно сказать, что для образования массы или массовидных тел необходимо чистое социальное пространство. Или точнее, образуясь, масса сама и создает его, ибо она не должна иметь границ, препятствующих ее бесконечному росту. Чистое пространство, пожалуй, следует понимать в том физическом смысле, в каком для нас чистой является гладкая поверхность стола, по которой растекается маслянистое пятно. Подобным же образом растекается и массовидное тело, стремясь заполнить все поры социального пространства. Массовое отдельное тело – просто nonsens. Однако более важно представить себе то, что для Эйзенштейна масса рождается в качестве массы только на поверхности экрана, этого чистого социального пространства, где она может свободно нарастать, гибнуть или исчезать, не встречая каких-либо препятствий извне. Массовидное, я сказал бы, – это не просто кинематографический фантазм. Я даже не знаю, о чем собственно говорят эйзенштейновские изображения революционной массы, – о Революции или быть может, о возможностях Экрана эти революции создавать? **.

50. Число массы должно расти, расти скачками, быть в непрерывности этого скачкообразного движения. Ритмически понятое число всегда больше самого себя и не может никогда совпасть с нейтральной единицей, не им управляют, а оно управляет... «Сколько их? Их тьма!». *Число – душа массы.* Если хотите, именно ритмическая волна числа дезинтегрирует наши телесные схемы

---

* *С. Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах. Т. 4, М., 1966. С. 245-246.*

** *Здесь стоит привести мнение выдающегося исследователя истории русского кинематографа Ю.Г. Цивьяна: «Сторонники "литературы факта" полагали, что Эйзенштейн ставил своей целью подменить историю мифологистикой. Нельзя сказать, что такие опасения были безосновательны, но дело обстояло весьма непросто. Отклонения от исторической достоверности имели своим источником не столько позднейший вымысел, сколько широкую сеть слухов и молвы, распространившихся тотчас же после Октябрьской революции. Ткань сценария "Октября" буквально пропитана этим "веществом". Дело не в нехватке информации -- как известно, в распоряжении режиссера были воспоминания очевидцев и участников восстания, в том числе и написанные специально для фильма. Вместе с тем можно заметить, что во многих случаях Эйзенштейн отдавал предпочтение не фактам и не историческим мифам, а мифологистике устной, газетной, стихийной, подгонявшей факты не под героическую схему, а под схему живого событийного архетипа» (Ю.Г. Цивьян. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896-1930. Рига, 1991. С. 350). Все сказанное можно отнести к пояснению парадоксалистской стратегии Эйзенштейна: непременное желание ставить исторические фильмы, но ориентируя, и даже загоняя историческую фактичность в пределы сценарно-сюжетного вымысла, который решает совершенно иные проблемы, нежели открытие исторической истины (или хотя бы верность ей).*

и образы, психомиметическую отторгнутость от другого тела. Упраздняет «чувство дистанции» по отношению к великим сценам мирам, где действует масса. Число предъявляет себя в эпизоде из «Старого и нового», как подчеркивает Эйзенштейн, в силу его неизобразимости: «белые зигзаги на черном фоне» и эти зигзаги, физические следы события: «рост числа колхозной артели». Неизобразимость ритма без *скачущего числа*, поддерживаюшего экстаз у видящей массы и тем самым превращающего зрительскую толпу в реальную массу восприятия. Архитектурная мегаломания Гитлера-Шпеера перекликается с кинематографмической у создателя «Октября». Э. Канетти в своем знаменитом очерке «Гитлер по Шпееру» вводит понятие скачущего числа: «Сильнейше средство для того, чтобы возбудить массу, – это показать ей ее рост. Пока масса чувствует, что она увеличивается, ей незачем распадаться. Чем выше число, которого, как ей говорят, она может достичь, тем сильнее ее впечатление от самой себя. Но ей надо дать живое ощущение того, как она достигает такого числа. Все в нарастающем возбуждении карабкаются вверх 60, 65, 68, 80 миллионов немцев! Масса, пораженная этими цифрами, воспринимает их как свое мгновенное приращение. Ее напряженность таким образом достигает предельно возможной меры. Человек, зарядившийся этой напряженностью, не может внутренне от нее освободиться. У него возникает неодолимое стремление опять оказаться в этом состоянии также и внешне»*. В близости Эйзенштейна и Канетти современиков фашизма и сталинизма, однако, проглядывают и существенные различия. Собственно, Канетти пытается создать антропологию массы, или иначе, пытается увидеть в ней особое социальное образование, которое, в сущности, им описывается по модели человеческого тела (но с другими анатомическими и «чувственными» характеристиками). Что нужно массе, если мы избрали ее в качестве данного нам объекта наблюдения? Массе нужно расти, оставаясь внутри себя равной себе, любить плотность своих «рядов» и стремиться еще к более высшей плотности, иметь направление движения и цель. Короче, нужно быть телом, пускай, особым, но все же именно телом, пускай, сверхбыстрым, но все же телом. Плотность-интенсивность-быстрота. Однако масса уязвима в своем могуществе над толпой и личностью. Если толпа может «собираться» и «глазеть» или неожиданно нарушать общепринятый порядок, чтобы тут же исчезнуть, и, следовательно, ее существование в во времени социальном не имеет никакого значения, ибо им не определяется. Иное дело, масса, которая не может существовать достаточно долго в социальном времени, если ее существование не будет поддерживаться специальными машинами (милитаристскими, террористическим или патетически-революционными, поддерживающими ее режим роста, распространения, управляющими ее быстротой). Подобные социальные машины всегда пытаются снять зазор между будущей целью массы и ее ростом. Этот зазор и есть быстрота. одно из фундаментальных качеств *массы-в-движении*. Ж.-П. Сартр, ссылаясь на свидетельства очевидцев захвата Бастилии «революционными массами», обратил внимание на то, что восставшая масса двигалась к цели с иной быстротой, которую внешнему наблюдателю невозможно было себе представить, ни предсказать. Дальняя цель – замедляет движение массы и ее рост, ближайшая ускоряет, поэтому необходимо дробить дальнюю цель достижимостью целей ближайших, чтобы мощь массы и ее быстрота не переставали нарастать. Число в своем качестве роста, «скачущее число» – это и есть ритмическое чередование ближайших уже достигнутых и достигаемых целей, через которые движется и рождается масса. Для Эйзенштейна масса в отличие о Канетти не была антропологическим объектом. Масса как таковая не существует, она не наблюдаема, ибо масса – это всегда скорее образ массы, а не сама масса как реально существующая в социуме. Другими словами, для Эйзенштейна масса не имеет ничего общего с массами митингов, парадов и толп, характерных для городской культуры XIX-XX века. Масса – это такой объект, который становится социально наблюдаемым и исследуемым только после рождения кинематографического экрана. Ни раньше и ни позже. Только экран способен вместить в себя бесконечный рост массы, ее быстроту и движение, и только экран и есть место в социальном пространстве, где масса становится возможной и существующей. Вот почему тайна массы заключается для него только в бесконечном, экстатически нарастающем числе.

* *Э. Канетти. Человек нашего столетия. Художественная публицистика. М., 1990. С. 78.*

Секрет. «Подметные письма», доносы, жалобы

51. Стоит прежде всего понимать секрет не как то, что скрывается властью намеренно и не нуждается в огласке, но совсем иначе. С е к р е т играет в этой модели Власти фундаментальную роль: это сфера осуществления самих властных полномочий и функций. «Секретные письма», *lettre de cachet*, – одна из важнейших форм государственного принятия решений, наиболее часто (систематически) использовавшейся в абсолютистско-деспотической модели, которая парна другой, легальной форме – указу, инструкции или подзаконному акту («произвол чиновника» как следствие применения традиционных исполнения властных функций «по своему разумению» или «по совести»). *Lettres de cachet* – это произвол Короны*. Иначе говоря, реальное осуществление абсолютистко-деспотической модели, а именно об этой модели необходимо говорить сегодня (лишь с незначительными поправками и смещения), модели традиционной и психологически признанной на протяжении всей истории России всегда осуществлялось с некой тайны происхождения иллегальной права на власть русского самодержца. Власть осуществляется тайно, т.е. не через систему легальной и всем обществом обсуждаемой системы принятия решений. И это не просто пожелание отдельной группы («клана», слоя, круга чиновников временно захвативших властные полномочия). Набор определенных действий, направленных на удержание и укрепление власти всегда не совпадает с государственным строительством, которое в свою очередь должно определяться развитием и охраной интересов гражданского общества. Сила воздействия на гражданина государственных решений должна пропорционально уменьшаться с развитием институтов гражданского общества и роль отдельного гражданина в принятие отдельных властных решений, но также и на уровне его местожительства или большего территориального деления. Следовательно, оппозиция между секретным приказом и легальным указом является для нас своего рода критерием, с помощью которого мы могли бы оценивать действия Власти. Естественно, что такого рода Власть предпочитает всегда действовать иллегально, тайно, поскольку действует так «по традиции и преданию», и потому что это просто удобно для нее, ведь она по-прежнему лишена какого-либо гражданского контроля и существует внутри государственного механизма на правах узурпатора. Власть эта «не хочет» делится властью именно потому, что она не может, а не потому, что она не хочет, (она весьма, вероятно и не знает как это делать). Под понятием Власть не следует подставлять Субъекта власти, «высший Разум», или «единую Волю народа», собранную в личности очередного правителя России, но форму принятия решений (вполне технологически представимую). *Власть – это не что иное как узурпированное определенной группой лиц или одним лицом право на принятие решений, касающихся всего общества в целом другого лица или группы лиц.* Обладать властью – это значит демонстрировать властное действие, которое подтверждает наличие власти у того, кто его совершает. Если в случае указа мы можем говорить о принятии решения (к исполнению), то в случае негласного указания, письма или телефонного звонка мы можем говорить о непосредственном действии власти. Естественно, что не трудно заметить, что все гражданские институты и общественные организации противостоят принятию «тайных указов», и стремяться уравновесить произвол игры власти секретов легализацией, раскрытием тайны в принятии решений.

** Ср. «Французские короли отдавали свои приказания двояким образом: чрез письма тайные и явные. Эти последние были законодательные акты; они были обыкновенно запечатываемы большой государственной печатью рукою канцлера, который затем и препровождал их в парламент. Этот последний имел право поверять их и даже, при случае, делать в них поправки. Секретные письма. были письма глухие, содержащие приказания короля, исполняемые без рассуждений; это были административные, письменные приказания, а не законодательные акты; они были подписываемы государственным секретарем и не подлежали контролю парламента. Секретное письмо -- приказ административный, и король часто пользовался им как средством заставлять исполнять закон, а также и как средством мстить частным лицам». (Эдуард Лабуле. Французская администрация и законодательство. С.-Петербург. 1870. С. 362)*

52. Массовое сознание имеет традицию растолкования образов власти, но всегда в ней власть предстает как нечто, что есть Чуждое (здравому смыслу человеческого выживания). И в этом нет ничего особенного или характерного только для российского жителя. Ужасает не то, что власть такова, какова она есть, но то, что она склонна и достаточно быстро вернуться к своей архаической, каннибальско-насильственной фазе развития. Казалось бы на первый взгляд произошло очевидное расколдование власти (термин М. Вебера), и она потеряла свои свойства чудо-власти, чудо производящей власти. Вера в чудо постепенно утрачивалась и распылялась по разным сословиям, классам и прослойкам. Власть сегодня бессильна («ничего не может»), поскольку она не в силах поддержать традицию произведения чуда. Однако, начиная с первого перестроечного периода и вплоть до сегодняшнего дня чудодейственность власти еще не совсем исчезла, так как по-прежнему не исчез ее основной потребитель так называмый «народ». Итак, чудо устранено, но политико-психологическая проекция гражданского общества все еще продолжает надеяться на лучшее, и это лучшее есть чудо избрания истинного, достойного, честного и пр. Явный отказ власти как от чуда (социального, или политического). Фигура спасителя и разочарование в нем. Массовые экстазы явления чуда и чудесного ныне уже трудно повторимы, но смещение чуда в другие сферы социальной жизни произошло или чудо как весьма важный эффект социально-психологических ожиданий «народа» уже более не в силах. Разочарование, апатия, ностальгия по чуду вместе с тем еще остается и и напрямую влияет на электорат. Не существует никакой этики или нравственного кодекса для людей, который исполняют властные функции по случаю, а не по необходимости.

Другой как Враг

53. Почему, говоря о собственной истории, мы подчас впадаем в отчаяние от того, что кажется в ней навсегда утраченным, что так и не утвердилось в ней в качестве гуманитарного европейского основания? Не только – кто мы, но и почему мы неевропейцы, или почему мы недостаточно европейцы, или, если будет позволено и такое различие, почему мы европейцы со знаком минус, почему мы хотим «жить» так, как они, но не хотим быть ими, очевидная близость с миром европейских обыденных и духовных ценностей, и каждый раз отрицание этой близости своим собственным историческим и социальным опытом? Мы уже столетия безуспешно отыскиваем свой образ в европейском зеркале: постоянно «сравниваем», стремимся больше «знать», учимся «заимствовать» с каждым новым поколением их культурные и политические ценности и т.п. Но всякий раз видим только неясный, промежуточный образ, который трудно отнести и к нам самим, и к тому обновленному и непохожему на нас европейскому Двойнику. Естественно, что не приходится сбрасывать со счета и некую психологическую привычку считать себя «гражданином Мира» и как бы все время находится в собственном **вне**национальном будущем, что облегчает труд над своим национальным определением и идентичностью. Эта великая лень ума, привыкшего довольствоваться тем, что может быть только возможным, что лишено всякой опоры в исторической памяти и критического опознания ценностей, закрепившихся в национальной культуре и языке, вероятно, и позволяет существовать столь странному, если не бесзаботному отношению к собственному Двойнику, в котором, в общем-то, и нет никакой нужды.

54. Может быть, здесь требуется развитие совершенно иного отношение к себе и собственной истории, которое-то и заставит проявиться зеркало, которое больше не будет «европейским», и в котором мы будем видимы и как мы сами и как себе Другие; в этом постоянном раздвое на себя как себя и на себя как Другого в их постоянном и сложном смещении относительно друг друга мне видится событие, стимулирующее исследовательскую мысль. Ибо наш Другой – это не европейский Другой, а тот, кто отделяет нас от самих себя, тот Другой, о котором мы по-прежнему мало что знаем, поскольку полагаем, что всякий «наш» Другой может обретаться не в истоках нашего исторического опыта, а только **вне**, как если бы он был просто иллюстрацией, что нам грезится на страницах книги, описывающей историческое сражение и победное триумф русских армий, техники или безумного рефоматора-революционера. И это, конечно, не бахтиа-

нско-дильтеевский Другой, не Другой в качестве универсальной герменевтической модели, но и не Другой, который стоит за этим Другим как его первоначальное и непостижимое единство, единство-в-Боге. Тот Другой, о котором я пытаюся что-то сказать, имеет мало общего со всеми теми желаемыми и спасающими Двойниками, которых способно изобрести подавленное и униженное сознание и тем самым остаться в безответственном неведении. Это те *другие*, которые не могут быть признаны (да и никогда не признавались) в качестве образов культурно, «духовно» и политически допустимого Другого, что всегда находились за пределами общественного идеала и добродетели, скорее образы общественного зла и болезни, чем те, которых ищут и желают, которых идеализируют как образы единственно приемлимого Двойника. Я имею в виду того Двойника, которого мы отвергаем по причине его «безумия», «преступления», его «извращенности» и «неумеренности», по причине того, что он – хранитель трансгрессивных опытов культуры, что за его появлением всегда следует экцесс, нарушение, попрание традиционных и признанных ценностей. Однако, именно трансгрессивные двойники культуры, которые как бы выведены за пределы нормативного и окультуренного опыта, никогда не находились там, где им было предуготовлено место, статусный знак или стигмата. Кто заставляет нас не быть самим собой, кто располагает такими удивительными возможностями, что не позволяет нам «обернуться» на собственного Двойника. Мало того, не только не позволяет, но и постоянно говорит от нашего имени, судит, отвергает, провоцирует, сулит надежду и конструирует утопии, не забывая и о том, – это Власть. И не просто власть (как всякая власть), а Власть, что держит собой все образы и институты Российской государственности. Национальная идентичность или шире наднациональная (но ограниченная границами государственными и территориальными) не задается через некие идеальные образы человеческого опыта, но через непосредственное действие (технологиями) Власти.

55. Власть есть так и неизжитый российским обществом комплекс **внутреннего врага**. Враг – это обнаруженный паразит, причем, там, где его присутствие решительно отрицалось. Всесилие власти переписывается массовым сознанием и как неизбежность расслоения общества на тех, кто **над**, и тех, кто **под**... Внутренний враг, – что это такое?. Собственно под внутренним врагом понимается нечто что совершенно непостижимо враждебное и чужое, и вместе с тем некая опасность или нарушение, которое принимается в качестве неизбежного и даже необходимого зла. Власть и есть внутренний враг российского общества... Власть, когда она не введена в рамки государственного контроля становится опасной, ибо начинает осуществляться совершенно спонтанно, и через любые возможные гражданские, политические, экономические и прочие институты, которые сама же и создает. Это не значит, что власть сама по себе может быть определена как негативное нечто, это значит лишь то, что в границах существующей формы государственности спонтанное действие власти (вне или бесконтрольное) не только не ограничивается (тем более преследуется Законом), но и приветствуется подавляющим большинством населения. Развитие концепции внутреннего врага приводит нас к пересмотру понятия национальной и государственной идентичности (или ее размыванию). Представление о Внутреннем враге становится устойчивым: враг наиболее ужасный и всепроникающий, это потому что он **внутри** и он всегда внутри. Подумаем немножко над следующими вещами: что это значит ненавидеть все внутреннее, и неустанное требование открытости, простоты, доступности и т.п. Не значит ли это лишать себя права на автономию, замкнутость, на ту последнюю тайну внутреннего, что и есть наша душа? Но не тут то было... Внутреннее или точнее, все то, что обладает внутренним измерением, становится первым и самым страшным врагом. Распределение ненависти, которое зависит естественно от разрушения прежних экономий жизни и невосстановимости их, и то, что новые экономии до сих пор не созданы. Все это мне представляет следующим образом: война между различными корпоративными группами идет за обладание собственностью, ибо теперь власть полностью сориентирована на свой основной энергоресурс, а это только собственность и ничто иное. Война уже видимая и беспощадная происходит на глазах тех, кто не в силах в нее ни вмешаться, ни ее прекратить, это болото или слой бесполезных людей. Разползание и резкое увеличение размеров образа внутреннего Врага: человек психологически неустойчив, быстр в

решениях, в захвате, атаке и бегстве. Время перехода от одного состояния системы к другому должно быть задержено этой быстротой действий, предпринимаемых новыми собственниками или теми, кто участвует в борьбе за нее...

Points of simulation

56. Пункты симуляции, через которые проходит любая система в том числе и политическая. Естественно что развитие системы должно отличаться гладкостью: ход гладкий и ровный, в таком случае изменение приобретает характер неизменности тех черт, которые присущи системе. И вот мы видим, что в тех точках, где ожидается изменение происходит нечто, что позволяет продлить существования прежней системе, хотя для себя самой она создает образ изменяющейся и мобильный, выражающий полное и радикальное изменение.. Изменилась ли советская система или нет? Нет, не изменилась, ибо в пунктах симуляции она продолжает длиться во прежнем времени. Пункты симуляции следует отличать от *пунктов распада*, но тем не менее не уклоняться от признания за ними корреляции по времени и месту. Пункты распада указывают на момент возникновения точек(пунктов) симуляции, их нарастания и умножения, а третий род пунктов, назовем их условно *пунктами стагнации*, это уже то, что не может подвергаться распадению, это скорее окостенение, омертвевшая ткань, кристаллизация и прочее состоянии покоя и отказа от развития. Пункты симуляции рояться вокруг моментов распада, ибо они сразу же возникают как только перестает действовать предыдущая система копирования.

57. Мы говорим, что есть два способа копирования: первый, это когда копируется известный трансцендентный идеал, это платонизированное копирование; второй, это когда, копирование сводится к умножению непрерывно повторяемому неких фрагментированных представлений, которые возникают в связи с ожиданием изменения системы. Первое способ копирования имеет уже избранный образец, он и избран и унифицирован, такого рода само копирование и умножение идеального образа характерно для ультрастабильных систем. Второй же способ, напротив, характерен, для нестабильных переходных систем, когда копированию подвергается практически все, что может копироваться, когда выбор еще не совершен, и ничто не может быть определено как универсальная общественная, культурная или политическая ценность, универсальная и идеальная Получается так, что в каждой отдельной корпоративной группе копируется свой ограниченный образец поведения, но копируется не ради него, а ради лишь возможности оказаться в данном ситуации войны устойчивым по отношению ко всем иным и враждебным копированиям. Банк, администрация, отдельный институт уже не может выжить только изначальным положенным ранее политическим или экономическим устройством общества (неизменные институты социальные экономические и политические необходимые для организации всего социального тела общества). Копирование происходит таким образом, как если бы интересы этой отдельной группы или страта (временного) рассматривались превыше любых иных внешних целей. Таким образом, внутреннее копирование экспансирует себя на другие области захватывая и подчиняя где возможно иные копировальные системы. Появляется нечто такое, что в нормальном обществе совершенно недопустимо, копирование самой процедуры копирования: то, что можно назвать тотальной криминализацией. Если пока отбросить в сторону все экономические, нравственно-психологические и политические аспекты тотальной криминализации российского общества в 90-х годах, то мы увидим что криминализация системы не есть действие «злой воли», «всеобщая распущенность», «апатия судебных и карательных органов», но нечто более серьезное: ослабление карательно-охранительных функций государства.

58. Нечто копирует себя как себе Иное. Если, конечно, копирование происходит так: копируется нечто, что может быть локальной корпоративной ценностью. Захватить, вывести на Запад, продать, получить деньги, купить на них собственность там же. Итак, ритм: **захватить, продать, получить**. Захватить, захват, захватывание (но для этого нужно уже скопировать некий последующий механизм копирования. Циклизм зависит от (быстроты) этой единой операции.

Быстрота оборота цикла становится на первых порах высшей ценностью определенной (криминальной или банковской) группы. Я только пытаюсь установить сам механизм циклизма (копирования), и прихожу к выводу, что сегодня он пока определяется быстротой не принятия стратегического решения, а быстротой захвата материала собственности (любого, но природных ресурсов прежде всего). Свобода экономического действия переходит возможные предел ее ограничения настолько быстро, что оказывается, что наиболее выгодный бизнес это красть. Красть все, повсюду, и не взирая ни на что. Собственность – это кража? Нет, не собственность это кража, а только кража дает нам феномен собственности. Не то, что кто богатый тот вор, а то, что кто небогатый, тот не вор. Мы узнаем, что иметь собственность это украсть ее, тот, кто не украл, ее иметь не может. Вот первоначальная экономия.

59. И другой момент, все определяющий и оправдывающий, – это неизменное господство имперской государственности. Слишком много усилий было затрачено на то, чтобы отвергнуть образ мира, предлагаемый этой властью, слишком много сил ушло и на борьбу с ней, слишком много жертв было принесено, чтобы познать ее, – но этот темный экран социального опыта России по-прежнему неустраним и по-прежнему он заставляет думать только о себе и понимать национальные образы идентичности и карту Мира только в его терминах. И если все-таки мы задаемся этим вопросом: «кто мы?», – то может быть не следует искать ответ на него только в эксцессах, великих событиях и катастрофах российской истории (Петровские реформы, крепостничество, революции, советский режим и сталинский террор), может быть, стоит попытаться выйти из этого макроисторического оцепенения и прекратить искать ответы исключительно в фатальной логике великих битв, катастроф и событий, ведь весьма, вероятно, что этой «логики» может не хватить нам (как не хватало до сих пор), чтобы понять, что все же произошло на рубеже 19-20-ого столетия, когда Россия наконец-то вступила в европейскую историю со своей особой ролью и духовным опытом? Тем и важен опыт Фуко, что совершенно полностью определяется глубинным исследованием европейского Двойника, о котором эта культура мало что знала до появления Ницше и Маркса. Может быть, сегодня стоит прислушаться к советам Фуко и начать мыслить *генеалогически*, а это значит обратиться к обнаружению следов в той пока невидимой еще истории власти, которая центрируется на человеческом теле и пространстве, обратиться к анализу тех телесных практик, я бы назвал их **практиками исключения**, т.е. такими, которые концентрируя свои механизмы принуждения на человеческом теле, пытаются скрыть, исключить, замаскировать его присутствие и роль в экономическом, социальном и духовном становлении российской имперской государственности, которая, как мы видим сегодня, еще не завершена. Не столько «духовная история» России, сколько социальная и политическая история тел в странном симбиозе с имперской властью история телесная, которая, как мне кажется, не должна состоять в описании имперских ритуалов и его наследия в различных режимах власти, и не в повторении всех этих бесконечных «рассказов» о том, как все было на самом деле, и что было бы, если бы действие тех же причин пошло в другую сторону, и что должно было бы «случится», чтобы Россия смогла вступить в эпоху политических свобод, процветания и безопасности?

60. Кажется порой, что описываемые Фуко процессы становления пенитенциарной системы западных обществ, могут быть легко прослежены и в российской истории почти в той же хронологии и периодизации. Однако эта легкость узнавания побуждает к осторожности, – в обилии сходных черт можно потерять существенные различия. Вероятно, прежде чем решаться на рискованные параллели и проекции, следует продумать некоторые очевидные и фундаментальные различия между двумя историями наказаний, с которыми тут же сталкиваешься, когда начинаешь размышлять об эффективности фукианских понятий по отношению к материалу отечественного опыта. *Первое*, и быть может самое важное различие: в истории России не найти почти трехвекового развития идеи дисциплинарного разума, постепенного и всеохватывающего, но достаточно быстрого внедрения дисциплинарных техник в сферу действия государственных, социальных и политических институтов. Конечно, можно говорить применительно к условиям имперской государственности и о дисциплинарном этосе, но это не будет формой «классического разума», а все же деспотической дисциплиной. Можно сказать также и то, что такого рода дисциплинарный порядок, что впервые

устанавливается в России, начиная с эпохи Петровских реформ, не преследует иной цели, кроме как модернизации самой абсолютистской власти, природа которой отнюдь не претерпевает радикальных изменений. Баланс между дисциплинарной практикой и становящимся бюрократическим механизмом, возникающим не на ее основе, но на старой, явно нарушается в пользу последней. Имперские идеи порядка и законности не выходят по-прежнему за границы абсолютистско-деспотической модели власти. Дисциплина приходит в Россию в чужеземных обычаях и привычках, модах, ремесленных и производственных навыках: насильственная европеизация посредством разнообразных дисциплинарных техник (не эндогенных) была возможна только на основе единой деспотической воли самодержца. Иначе говоря, дисциплинарные методы всегда распространялись в обществе **сверху-вниз**, по деспотической вертикали, и скорее были некими уложениями и бюрократическими сводами инструкций, чем той дисциплиной, которая формировалась изнутри и снизу в толщах европейского мира. Дисциплинарная утопия Петра Первого была реализована настолько, насколько его воля была способна деспотическим образом дисциплинировать все общество в целом. Человек по-прежнему не зависел от дисциплинарного разума, и рассматривал всякое иное упорядочивание его труда в качестве акта насилия, направленного на осуществление власти. Вот почему почти сразу же возник перекос в распространении дисциплинарных методов, которые в силу отсутствия необходимых опосредствующих механизмов и технологий, оказались просто новыми способами осуществлять деспотическую волю и в тех новых условиях, когда, казалось, сама власть должна была измениться. Но такой проблемы как модернизации природы абсолютистской власти не существовало, модернизировалась лишь технологии господства. *Второе*, не-параллельная эволюция технологий власти. Конечно, власть эволюционирует как представление или как идея, но также изменяется режим власти, что трудно сказать о формации власти, которая может изменяться намного медленнее или вообще не изменяться, как это пока и происходит в современной России, где изменение режима, не повлекло изменения самого типа или формации Власти.

Тайна, чудо, авторитет

61. К технологиям власти, обслуживающим абсолютистско-деспотическую модель или ее переходные (стагнирующие) типы, следует отнести известные эффекты наиболее полного проявления подобной Власти и это будут: *тайна, чудо, авторитет*. Освященная власть. Это я бы даже сказал психосоциальная материя власти, с которой надо считаться, к сожалению, и сейчас, хотя она и отмирает естественно-эволюционном образом сегодня благодаря развитию (пускай, далеко не быстрому) гражданского общества.

1) Т а й н а. Стоит прежде всего понимать тайну не как то, что скрывается властью намеренно и не нуждается в огласке, но совсем иначе. Тайна играет в этой модели Власти фундаментальную роль: это сфера осуществления самих властных полномочий и функций. «Секретные письма», *lettre de cachet*, – одна из важнейших форм государственного принятия решений, наиболее часто (систематически) использовавшейся в абсолютистско-деспотической моделе, которая парна другой, легальной форме – **указу**, инструкции или подзаконному акту («произвол чиновника» как следствие применения традиционных исполнения властных функций «по своему разумению» или «по совести»). *Lettres de cachet* – это произвол Короны*. Иначе говоря, реальное осуществление абсолюти-

** Ср. «Французские короли отдавали свои приказания двояким образом: чрез письма тайные и явные. Эти последние были законодательные акты; они были обыкновенно запечатываемы большой государственной печатью рукою канцлера, который затем и препровождал их в парламент. Этот последний имел право поверять их и даже, при случае, делать в них поправки.*
Секретные письма были письма глухие, содержащие приказания короля, исполняемые без рассуждений; это были административные, письменные приказания, а не законодательные акты; они были подписываемы государственным секретарем и не подлежали контролю парламента. Секретное письмо - приказ административный, и король часто пользовался им как средством заставлять исполнять закон, а также и как средством мстить частным лицам». (Эдуард Лабуле. Французская администрация и законодательство. С.-Петербург. 1870. С. 362).

стко-деспотической модели, а именно об этой модели необходимо говорить сегодня (лишь с незначительными поправками и смещения), модели традиционной и психологически признанной на протяжении всей истории России всегда осуществлялось с некой тайны происхождения иллегальной права на власть русского самодержца. Власть осуществляется тайно, т.е. не через систему легальной и всем обществом обсуждаемой системы принятия решений. И это не просто пожелание отдельной группы («клана», слоя, круга чиновников временно захвативших властные полномочия). Набор определенных действий, направленных на удержание и укрепление власти всегда не совпадает с государственным строительством, которое в свою очередь должно определяться развитием и охраной интересов гражданского общества. Величина воздействия на гражданина государственных воздействия должна пропорционально уменьшаться с развитием институтов гражданского общества и роль отдельного гражданина в принятие отдельных решений на самых различных уровнях от общегосударственных, внешне-политических, но также и на уровне его местожительства или большего территориального деления, в которое он включен. Следовательно, оппозиция между тайным приказом и легальным указом является для нас своего рода критерием в различиях правил действия Власти. Естественно, что такого рода Власть предпочитает всегда действовать иллегально, тайно, поскольку действует так «по традиции и преданию», и потому что это удобно для нее, ведь она по-прежнему лишена какого-либо гражданского контроля. Власть эта «не хочет» делится властью именно потому, что она не может, а не потому, что она не хочет, (весьма, вероятно, что она и не знает, как это делать)*. Под понятие власть не следует подставлять большого Субъекта, – «высший Разум» или «единая воля Народа», собранного в личности очередного правителя России, но стиль и технику принятия решений (вполне технологически представимую). Власть – не что иное, как узурпированное определенной группой лиц или одним лицом право на принятие решений, касающихся всего общества в целом. Правда, это слишком общо. Власть есть просто возможность принимать решения, подтверждающие наличие власти у того, кто их принимает. Это, пожалуй, получше. Если в случае указа мы можем говорить о принятии решения (к исполнению), то в случае негласного устного приказа или телефонного звонка мы можем говорить об опосредованном действии власти. Власть уклоняется, как бы уходит резко в сторону по большой кривой спуска в укрытие, где ее невозможно обнаружить… Как говорить о власти действующей, если ты уже включен в ее симбиотический план, твоя роль предписана, и ты уже подготовил торжественную речь? Естественно, что не трудно заметить, что все гражданские институты и общественные организации противостоят принятию «тайных указов», и стремяться уравновесить тайный произвол власти легализацией, раскрытием мехнизма принятия решений.

2) Ч у д о. Казалось бы на первый взгляд произошло очевидное расколдование власти (термин М. Вебера), и она потеряла свои свойства чудогенной, чудо производящей власти. Вера в чудо постепенно утрачивалась и распылялась по разным сословиям, классам и прослойкам. Власть сегодня бессильна («ничего не может»), поскольку она не в силах поддержать традицию произведения чуда. Однако начиная с первого перестроечного периода и вплоть до сегодняшнего дня чудодейственность власти еще не совсем исчезла, так как по-прежнему не исчез ее основной потребитель так называемый «народ» (собственно. только ему. а народ – это мы все вместе, мы по отдельности обязаны голосами в пользу Жириновского, Зюганова, Ельцина, Лебедя, все эти фигуры, все таки отчасти несущие отсвет чудодейственности власти.) Итак, чудо устранено, но политико-психологическая проекция гражданского общества все еще продолжает надеяться на лучшее, и это лучшее есть чудо избрания истинного, достойного, честного и пр. Явный отказ власти как от чуда (социального, или политического). Фигура спасителя и разочарование в нем. Массовые экстазы явления чуда и чудесного ныне уже трудно повторимы, но смещение чуда в другие сферы социальной жизни произошло или чудо как весьма важный эффект социально-психологических ожиданий «народа» уже более не в силах. Разочарование, апатия, ностальгия по чуду вместе с тем еще остается и и напрямую влияет на электорат

3) А в т о р и т е т. Не существует никакой этики или нравственного кодекса для людей, который исполняют властные функции (и не должно существовать).

* *Тема «подметных писем» в русском праве.*

Малая история тюрьмы

62. И быть может, самое неожиданное: а была ли в России тюрьма (если, конечно, под тюрьмой мы будем понимать не только место наказания, но и специфический социальный институт, имеющий свою историю, развитие. цели)? Вероятно, ответ должен быть отрицательным. Отрицательным не в том смысле, что тюрьма в России не существовала, но в том, что она не развивалась как институт Наказания и Исправления. Существенное различие в карательной экономиии пространства и времени, и, конечно, тел, которые подвергаются наказанию. Совершенно невозможно себе представить тюремную фантазию Бентама, утопию паноптикона действенной для общественно-имперского сознания дореволюционной, коммунистической и посткоммунистической эпохи. Если коммунистические модели и строились в границах световой архитектуры, то этот свет скорее был общим освещением, но вовсе не индивидуализирующим. Напротив, свет для Бентама не просто свет, в нем нет никакой натуральности «Богом данного мира», но свет избирательный, а еще точнее, искуственный свет, который не просто освещает, но видит, свет оптически организованный с точки зрения инстанций наблюдения за человеческими телами. Можно сказать, что там, где мы встречаем подобные замкнутые на себя утопии пространств (городов, тюрем, государств, сообществ) везде идет речь о скрытой геополитической мере, без которой было бы невозможно себе представить подобные утопии. Ведь совершенно ясно, что закрытость европейского пространства не позволяла дисциплинарному разуму прибегать к фантазированию и проектам открытых пространств. Однако сфера наказания в России не получила никакого институционально определьного подтверждения во множестве тюремных проектов (начиная с Екатерины II). Более того, подобные проекты и не могли быть реализованы геополитически. Тюрьма не имела места в обществе в качестве правового института (и надо сказать до сих пор его не имеет), она имела только карательный смысл, но не социальный и охранительно-воспитательный. Тюрьма и существовала и не существовала. Действительно, если мы будем рассматривать каторжные работы («сибирскую каторгу») в качестве разновидности тюремного института, то в таком случае тюрьма существовала, но если мы все-таки попытаемся понять тюрьму несколько иначе, т.е. как социальный институт, то тогда нам придется признать, что тюрьмы именно как социального, правового института в России докоммунистической и посткоммунистической никогда не существовало.Но все-таки что это значит «не существовала»? Попробуем с этим разобраться.

63. Основная причина подобного положения – не только в поздней отмене крепостной зависимости. В силу этой глобальной причины «скорый» помещический суд над своими холопами устранял фактор тюрьмы, одновременно устранялось и всякое правовое представление о системе «справедливого наказания». Вот почему телесные наказания наряду с каторжными работами становились наиболее эффективным заместителями тюремного заключения. История телесных наказаний и есть единственная история становления института тюрьмы в России. Почему? Прежде всего потому. что царская тюрьма на протяжении столетий оставалась своего рода *отстойником* для всех тех, кого общество карало, местом, которое никаким образом не должно было сообщаться с самими обществом. Преступник изгоняется из общества, помещается в яму, заковывается в кандалы, лишается самых необходимых условий существования и тем самым наказание вовсе не сводится и не имеет никакого отношения с ограничением прав через ограничение свободы распоряжаться собой. Да как оно могло иметь его, если заключенный уже на воле не имел, фактически, никаких прав и они могли были быть нарушены отняты в любой момент воле высшего судьи, самодержца. Следовательно, фактор страха лишения свободы долгое время действовал только в купе с прямым физическим страданием и был неотличим от него. Достаточно проследить использование тюремного заключения на протяжении 18-19 века как можно заметить, что неудача всех проектов реформирования царской тюрьмы заключалась в том, что тюрьма была лишь как бы приложением к массовому характеру применения телесных наказаний, которые долгое время не просто сопровождали тюремное заключение, но более того отменяли его, и являлись его замещением. И что интересно, что все попытки преобразования

и улучшения тюремного дела в конце концов вылились в использование монастырских тюрем, крепостей, казематов, куртин, замков, вплоть до ям и землянок. Но нигде мы не встретим самой тюрьмы (все эти проекты, во всяком подавляющая их часть так и осталась на бумаге). Принцип тюремный остается неизменным в течение последних двух веков до рубежа 20-го – **острожный**. Тюрьма и есть острог, строгое держание. Отсутствие воли к реализации тюремной реформы (чрезвычайно медленно строительство новых тюрем по всему, кстати, тому же острожному принципу) оказалось существенным фактором, тормозившим отмену телесных наказаний. Острожный принцип заключения в простой своей формуле может быть выражен так: *не дать убежать*. Другими словами, не столько помещать, заключать и сажать под замок, но лишить возможности узника каких-либо шансов на побег. И чем в меньшей степени острожное здание соответствовало этой цели, тем в большей степени определяющую роль играла процедура заковки и перемены. Вот почему острожный принцип заключения немыслим без кандалов во всем разнообразии их видов, веса, применения к различным частям тела и ограничению способности арестанта к передвижению днем или ночью. Кандальная цепь становится знаком арестанта, отчасти характеристикой его нрава и тяжести преступления (хотя и эту закономерность трудно проследить со всей точностью).

64. Это право быть свободным в тюрьме российской никогда не действовало. Тюрьма – прежде всего место наказания, причем наказания практически тотального и количественно не соотносимого с самим приговором. Таким образом, речь идет о радикальном разрыве между тюрьмой и самим обществом, отсутствует какая-либо обратная связь. Устроенность всей практики наказания на непосредственном воздействии на человеческом теле, причем, эта практика подчиняется своим физическим законам, не имеющим никакого отношения к исправлению преступника или даже его первоспитанию. Уязвимость физическая человеческого тела, так как тело караемое не принадлежит себе, и его владелец не имеет на него никаких особых прав, напротив, тело потому и дано отдельному представителю человеческого рода, чтобы он знал свое место и был наказуем за любой проступок. В том смысле, в каком мы можем говорить о том, что это прямое воздействие возможно лишь нет никаких прав собственности на свое собственное тело. Человек не владеет своим телом, ибо оно остается главным инструментом власти карающей. Отсутствие права собственности на собственное тело.

65. Когда читаешь Фуко, то все время как бы движешься вдоль им прослеживаемой, разделяющей кривой нормы: по одну сторону от нее – наши представления об антропологическом единстве человеческого опыта (во всей гамме субъективных и гуманистических представлений), но по другую, вне закона и правила, – открываются обширные пространства, не всегда видимые и значимые, дисциплинарных телесных практик, достаточно компактные, мобильные, «точные», которые не покрываются идеальными принципами наказания, надзора, лечения, исправления или воспитания, они не институциональны; и между двумя этими сторонами – изменчивая, пульсирующая, постоянно смещающаяся кривая нормализации, *исключающая ради включения*. Радикальность позиции Фуко очевидна: в сущности, для него нет и не существует никакого исторически неизменного пласта человеческой чувственности, нет никакого первоначально **до** Истории существующего единства души и тела. А что же есть? Есть только пространственно-временные формации, сменяющих друг друга словно по эстафете телесных технологий, «делающих» наши тела, идеальные тела-фигуры, чрез которые и проходит кривая нормы. Каждое общество, на какой бы стадии развития мы его не застали, учреждает свою телесную норму негативным образом: что тело не должно делать, чтобы быть нормальным. Так, карательная анатомия имперских эпох подавляет и устраняет, приговаривает к смерти всякого, кто нарушит Закон, утверждая в качестве невидимой нормы человеческого образа Государя, и это норма, воплощает собой живую трансценденцию повседневного бытия, недостижимую, несравнимую и не сводимую. Но норма меняется и кривая нормализации тут же меняет свой профиль, и всякий раз, когда это происходит, норма оказывается подвижным пределом, обуздывающим опасные и избыточные для общества трансгрессии человеческой чувственности. Норма может быть гибкой

и пластичной (что, особенно характерно для современных западных обществ), и однако не терять свой «жесткости», но может стать и неподвижной чертой, когда она полностью определяется ориентацией на «исключение» и становится чем-то подобным священному межевому камню, отделяющему зло от добра, черное от белого и т.п. Но вот что странно, и в чем не всегда отдают себе отчет, там, где воцаряется неизменная норма, мы никогда не находим антропологически ясного в своих чувственных возможностях телесного идеала, норма неизменная и застывшая только исключает, карает, и преследует, открывает нам сферу исключенного, заражая страхом быть исключенным, который тем более угрожает нам, чем активнее проводится в жизнь практика исключения не нормы. Ужас появляется, когда сама жизнь оказывается **вне** нормы; нечто подобное, вероятно, можно было наблюдать в конце 30-х годов, когда сталинский террор достиг невиданных масштабов.

66. Общество, если оно, действительно, желает понять себя, должно быть внимательно к смещению черты нормализации, к движению ее сложной кривой, так как она пересекает общество на различных уровнях и с разной степенью эффективности. Каков режим нормы в настоящее время? Что считается преступлением, а что нет, какие преступления представляют собой большую опасность: злостное хулиганство со всеми его тяжкими последствиями, преступления против собственности или организованные формы преступности, или, что такое, например, «преступление государственные», не свершаемые от имени государства, а именно те преступления государственных чиновников, которые прямо нарушают Закон и тем не менее не преследуются судом и являются как бы преступлениями вынужденными, т.е. совершаются как раз по логике негласно установленной, но видимой всему обществу «преступной» норме. Государственные институты охраны Конституции также вовлечены в движение этой нормативной кривой, что постоянно смещается в сторону от Закона, причем, настолько далеко, что Закон уже не в силах повлиять на становление самого нормативного представления. И тогда возникает опасная ситуация – юридически абсолютно бессмысленная – когда норма начинает полностью определять все условия применения закона, не учитываться, а именно определять.

67. То же «заказное убийство» может интерпретироваться как одно из тяжких преступлений против личности (что очевидно), но и в тоже время как выражение экономического интереса отдельных преступных структур и групп. Российский «киллер» выступает чем-то в роде знака, помечающего движение кривой нормализации: нормально, что преступники убивают друг друга... и черта смещается (так нередко рассуждают «органы правопорядка», опираясь на «мнение» народа); нормально так же убивать конкурентов, если речь идет о реализации глобальных экономических интересов (так рассуждают те, кто заказывает киллера, ведь, если ты не убьешь, то убьют тебя). И черта вновь заколебалась. Нормально убивать, в конечном итоге, все это получает именно такой смысл. Нормализуется, т.е. повторяется и становится некой обыденной формой поведения то, что не может быть нормой, ибо подрывает сами основы общественного устройства. Однако подобная норма начинает утверждаться в общественном сознании, даже, если все признают ее очевидную ненормальность. Закон перестает действовать именно потому, что обществом не опознается черта нормализации, закон и бессилен потому, что лишается всякой возможности влиять на преступление, соотносить его с устойчивой нормой; общество не в силах оценить результатов применение закона. Черта нормализации почти стерта: в послеперестроечную эпоху всякое преступление оказывается, в конечном итоге, преступлением экономическим (за ним – то ли обнищание и ожесточение, то ли открытое недовольство, то ли потеря ориентиров в новой социальной ситуации, то ли жажда наживы, а то и государственные интересы, выражаемые отдельным коррумпированным чиновником и т.п.) За преступлением не оказывается преступника. Но в таком случае, остается только сделать один вывод все общество оказывается втянутым в производство преступных практик, кто не преступает, тот не выживает.

68. Это особенно может быть заметным, когда анализируешь радикальные изменения в социальной стратификации российского общества за последние несколько лет. Все поменялось и

причем настолько, что на задний план отошли все сегодня менее активные социальные фигуры-типы, а на их место, но иной схеме действия вышли совершенно иные: «новый русский», «киллер», «челнок», «авторитет», «профессионал», «телохранитель», «спонсор», «бомж», «помощник», «шоумен», «политик», «депутат», «президент», «группировка», «бригада», «банкир» и т.п. Здесь я касаюсь только частоты использования этих терминов в языке средств массовых коммуникаций(хотя возможно, что этот современных новояз, весь этот жаргон постперестроечной повседневности может быть еще более важен). Выявилась достаточно небольшая прослойка очень богатых людей, составивших себе значительное состояние буквально за два-три года, так называемые **новые русские***. Под фигурой социальности я понимаю проекцию определенного социального поведения на экран массового сознания, которая получает свою типовую фигуративность благодаря техническим, языковым и идейным средствам, которыми располагают СМИ. «Новый русский» как фигура социальности не есть только знак изменения в социальной типологии, эта фигура не дополняет старую сцену новым героем, но скорее демонстрирует начало совершенно иной трагикомедии жизни. Значимость этой фигуры постепенно изменилась от достаточно положительной на первых порах до отрицательной и крайне отрицательной. По мере роста недовольства населения ходом реформ и войной в Чечне эта фигура оказалась нагружена совершенно определенным криминальным оттенком. «Новый русский» и видится массовому, «обездоленному сознанию» как только в компании уголовных авторитетов и *воров-в-законе* (и пока нет признаков улучшение отношения общества к этой фигуре). Не пойманный, но вор, и не просто вор, но Вор с большой буквы (т.е. вор, который если не в силах легализовать свое состояние, то не боящийся выставлять его на показ, демонстрировать нелепую роскошь и столь нелепое высокомерие замкнутого клана «настоящих людей»). Здесь, конечно, не место вести более подробный анализ причин вызвавших появление криминальных фигур социальности. Но все же хотелось бы коснуться нескольких моментов.

Первое, что просто бросается в глаза, это практически полная криминализация сферы предпринимательства и сужение ее до простого отношения спекуляции на продаже энергоресурсов, оружия и драгоценных металлов. Криминализация оказалась в современной России процессом исключительно вертикальным, с очень слабо развитыми поперечными ответвлениями, вот все отношение так называемого большого бизнеса. Та оппозиция, которая видится Фуко чрезвычайно характерной для фигур преступности в 19 веке Видок-Ласенер, хотя и не может сегодня быть персонифицирована, но совершенно явственно проявляет себя в оппозиции/тождестве таких фигур: Ванька-Каин – Вера Засулич.

Преступник (как) Чиновник, Чиновник (как) Преступник. Кстати, регулятором их отношений выступает непосредственно «киллер», корректирующий их отношения и создающий видимость справедливого возмездия за нарушение финансовых обязательств.

69. В сущности, мы сталкиваемся с двумя тенденциями в мировой философской литературе: одна так или иначе строится на исследованиях объясняющих механизмы тотального Мимезиса/Слияния (заражения, паразитарного симбиоза, психомиметизма, экстаза и экстатического, магии в ее интерпретациях М. Моссом, Д. Фрезером, К. Леви-Стросом, Л. Леви-Брюлем, Р. Кайуа, Ж. Батаем, Э. Канетти, М. Фуко, П. Бурдье, Ж. Делезом-Ф. Гваттари, Р. Жираром и др.);

** Такого рода анализ прекрасно представлен был не только различными физиологиями общества и анатомиями (Бальзак), но и выделение особых типов поведения, например, исследованиях Э. По, Ш. Бодлера и позднее В. Беньямина. который упорядочил социальную мифологию парижских улиц и дал их новые типы («денди», «старьевщик», «человек толпы». Стоит вспомнить и «18 брюмера Луи Бонапарта» К. Маркса, где даются точные характеристики новых революционных типов («заговорщики по призванию» и «заговорщики по профессии»). В любом случае подобные физиологии обычно составляются в смутные времена, когда нарушается социальная стратификация и появляется множество переходных типов поведения, неустойчивых и временных, но совершающих в повседневном массовом языке средств коммуникации (в публичности) свою эволюцию.*

другая, которую можно предварительно определить как *институциональную* или как объясняющую механизмы *тотального Запрета/Границы*.

70. Нельзя ли здесь ввести биосоциальную метафору: *организм-паразит*, *язык* (как организм) – *иконический знак*(как паразит)? Существуют элементы языка (его конституирующие), которые не покидают его пределов и от которых он не зависит как средства коммуникации, ибо они приданы ему изначально; обычно это касается семантики, синтаксиса и грамматики, т.е. ряда правил и законов языка как идеальной системы высказываний. Но когда мы переходим к знаку с его разнообразными модальностями, то покидаем язык, и переходим в то, что *уже-или-еще* не язык, скорее языковая трансгрессия, переход, игра симбиотических связок и сетей.

Идея лагеря. Опыт генеалогии тоталитарного пространства

Договор или закон?

71. В истории современной России противостояние Договора и Закона всегда было политически значимо. Если договорные отношения (по определению) создают разнообразные возможности развития человеческого сообщества, то закон регулирует идеальную норму; первый расширяет возможности, второй их ограничивает; первый – результат доверия между договаривающимися сторона, второй, напротив, и задуман как следствие выхода из тупика «социальной войны», «недоверия» или традиций «мести». В данном случае, я не хочу касаться проблем связанных с доминированием западно-европейских, прогрессистских ценностей, чьим выражением, собственно, и являются статьи Декларации? Насколько они могут навязываться мировому сообществу в качестве необходимой нормы межчеловеческих и межгосударственных отношений. Важно хотя бы представить нечто политически р е а л ь н о е, то, что легко опознаваемо в российском правовом сознании, а именно, что Закон всегда доминирует над Договором. Ни на каких уровнях исполнительной власти вы не найдете соответствующее понимание смысла и цели договорного отношения, но зато всегда ссылку на неизбежность Закона. Договор – ничто, Закон – все. Такова фасадная представительская идеология государственных институтов пост-тоталитарного общества, которое «не знает», как уважать права своих граждан, не прибегая к силе и ограничению со стороны Закона. Все это я говорю для того, чтобы указать только на очевидный факт: в этой стране несколько отличное (от европейского) представление о Договоре и Законе. Как же так получается, что принимается превосходство Закона над Договором, и в тоже время эта страна не может гордиться закопослушностью своих граждан? Возможный ответ: Закон есть утопия социального порядка. Все сводится к Закону, его «страстно желают», поэтому так часто в массовом сознании мы встречаем одни и те же лозунги: «Восстановите законный порядок!», «Вся власть Закону!», «Когда же, наконец, будет покончено с этим беззаконием?!» и т.п. В сегодняшней России независимо от политических пристрастий и социального положения, все взывают к Закону? И возможно, одним из следствий этого желания Закона (и неспособности общества принять стратегию договорных отношений) и является естественная трансформация пост-тоталитарного режима власти в авторитарный. Экономические преобразования не только не стали моделью новых договорных отношений, но и сами испытали на себе это авторитарное превращение, и во многом остаются слишком зависимыми от господствующего политического режима. Именно потому, что к Закону призывают, именно поэтому он и не существует в виде обязательной общепринятой Нормы. Отсюда также и попытка властвующей группы (и тех, кто ей прислуживает) создать иллюзию персонификации Закона в личности Президента. Карл Шмидт прекрасно показал, что явление диктатора всегда совпадает с явлением «нового Закона». Ожидание общества, что будущий правитель возвратит стагнирующее, распадающееся, разочарованное, впавшее в апатию и безверие общество к Закону. Так вырисовывается и «картинка» ожидания, и на ней: «истинного Царя» (вместо «самозванца» и узурпатора), «Законодателя» (вместо беззакония), «сильного и молодого Лидера» (вместо престарелого погрязшего в коррупции, телесной немощи, фаворитизме). Все тот же круг массового сознания, которое оно не устает проходить (словно издеваясь над временем историческим), порож-

дая все те же фигуры и маски Закона. Но «картинка» может и расширяться в иную сторону: свидетельствовать о росте напряжения в общественном сознании, вплоть до раскола общества и возможных волнений, а то и гражданской войны.

72. Действовать не по Закону, а от имени Закона. Это очень похоже на то, какую ранее имело силу представление о том, что нужно следовать не Закону, а закону собственной совести. («Судить не по закону, а по совести» – Ф .Достоевский).

73. Декларация в принципе относит себя именно к этому пониманию человеческого права. Закон получает Имя, т.е. индивидуализируется и персонифицируется, в противном случае, он перестает опознаваться в качестве Закона. Должны быть те, кто поддерживает и приводит Закон в действие – его служители – и те, кто ему подчиняется. Нельзя ли поразмышлять над тем, насколько политически ответственно воспринимается сегодня российским общественным сознанием (шире, «властями», «отдельным гражданином», «институтами» или «корпоративными сообществами») статьи Декларация прав человека? Насколько признан этим сознанием сам *статус* договорного отношения? Я бы даже сказал и так: насколько вообще возможно в России сегодня политически мыслить (жить, наконец!) не посредством закона, а договорно? Ведь совершенно ясно, что все статьи Декларации могут приняты любым человеком, не взирая ни на его воспитание, образование или род занятий. Ведь все готовы признать в себе человека и те возможные права, которыми он должен обладать, извечными и нерушимыми, чтобы быть человеком. Каждый хочет быть счастливым, свободным, гарантированным в своих правах... Другими словами, текст Декларации не чужд никому, ни европейцу, ни русскому, ни китайцу.

74. В отличие от западно-европейских обществ, где ограничительная функция Закона все время реформируется в пользу смягчения (отдельных статей или их отмены) и замена ее договорным правом, где представление о Законе постоянно инволирует, потому что он не противостоит более хаосу или социальному беспорядку, и остается невидимым пределом, который каждым гражданином ощущается почти инстинктивно, наше общество находится на другой стадии развития. Вызов неизменно повторяется: угроза будущего Хаоса/Беспорядка. И эта угроза отражается все той же утопией справедливого Закона. А раз он изначально справедливый, то это ведет к последующей персонификации его индивидуальной и даже трансцендентной силы в лице нового Законодателя. Все более или менее известные в России «правители» так или иначе, но совершенно инстинктивно отражают чаяния этого разочарованного в себе и во власти народа, они авторитарны на-столько, насколько они способны говорить от имени Закона. Так и получается, что требование законности и порядка связывается с фигурами Закона, а не с самим Законом в его юридически-правовом статусе, и его социальной невидимости. Абсолютная безответственность и беззаконность правящего Первого лица совершенно не нуждается в подтверждении некими «фактами», она очевидна с точки зрения самого политического режима, где принятие решения оказывается прерогативой Одного человека (пускай, даже уполномоченного), как если бы страна и ее граждане по-прежнему находились в ситуации чрезвычайного положения (что, кстати, на самом деле так и есть). Но цепь эта неразомкнута: вот почему принятое решение вновь приводит нас к хаосу, а от него к желанию Закона, а от него опять к ожиданию Того, кто примет решение и прекратит этот Хаос. Но оказывается, что авторитарному режиму крайне выгоден этот институт принятия последнего решения, которое создает иллюзию преодоления беззакония и хаоса, чтобы вновь каждый раз его порождать... Первое лицо (в авторитарном режиме) и есть Тот, кто творит Закон повседневно (и это его право реально, в то время как законодательная практика избранных представителей народа формальна, и не влияет на механизм принятия решения в соответствии с уже имеющимися Законом). Как это ни грустно, но приходится констатировать поразительный разрыв между реальными функциями власти и властными демонстрациями, к которым не может быть отнесено право на принятие решения, ибо оно узурпировано). Мы все, как граждане, живем будто бы в двух измерениях: одно, – это то измерение, в котором наше общество еще находится на стадии чрезвычайного положения; в другом, мы как будто в обществе переходном, которое развивается совершенно стихийно и неуправляемо,

и развивается вопреки тому политическому режиму, который так высокомерно и грубо взял на себя полную ответственность, но не считает нужным после «захвата власти» за что-либо отвечать). Все, что не делается сегодня полезного и удачного, все делается вопреки... Закон все более персонифицируется и тем самым, получая трансцендентное алиби, перестает нести ответственность, а граждане, чья жизнь сводится к выживанию (а это значит, что отсутствуют фундаментальные, гарантированные государством права личности и гражданина), не могут освободится от апатии, ностальгии и тех известных ожиданий; не видя выхода из тупика, они по-прежнему желают Закона. В этом какая-то садомозохисткая природа всего комплекса ожидания пришествия Закона (который обязательно должен покарать, ограничить в правах, а то и вообще лишить жизни другую часть населения, пускай, малую). Закон призывается как исполнение Мести, и даже соотнесен с тем будущим удовольствием, которое можно будет испытать, когда каре подвергнуться эти «новые сытые», эти «зажравшиеся чиновники-воры», эти «бесчисленные бандиты», «демократы» и т.п. Дело доходит до того, что объектом будущей провинциальной несокрушимой мести станет и даже столица нашей родины, город-герой Москва...

75. Что же получается? Представим себе топику массового сознания. Отличие очевидно: ведь совершенно ясно, что упование на «справедливый Закон», над-индивидуальную и сверхестественную силу, которая и есть, в сущности, извечный порядок и смысл всей человеческой жизни. Поэтому-то Договор не воспринимается как сакральный акт, но скорее как акт профанический, бытовой, вынужденный и случайный. Именно в этом смысле, как мне представляется и можно понимать эти обезоруживающую нас своей точностью народную мудрость: «Закон, что дышло, куда толкнул туда и вышло», «закон нельзя нарушить, но можно обойти» и т.п. Я хочу сказать, что для сознания массы Закон всегда идеал и всегда кара, вина, преступление, договорные же отношения профанируют Закон, ускользают из под его сакрального влияния и именно в силу этого они и не представляются надежными, так как не несут в себе никакой сакральной силы Закона. Перед лицом Закона всякий Договор может быть нарушен и отменен. На нашей схеме хорошо видна та пустота, что окружает в массовом сознании традиционного общества Закон, и это пустота отмеряет бесконечную дистанцию по отношению к Закону каждого гражданина. Ибо желание Закона и есть желание его непостижимости. В таком случае, понятно почему сфера Договора тем, где она активно начинает формироваться захватывает и по сути дела десакрализует отдельный Закон, так как ставит его в прямую зависимость от Договора. Условие исполнение Закона теперь должны обретать свою моральную силу не из непостижимости самого закона (тайны принятия решения, персонификаций и т.п.), а на основе устанавливаемого согласия между членами общества.

76. Декларация непосредственно обращена к человеческому воспризнанию, она уже записана в индивиде или в личности, потенциально ощущающей себя свободной, автономной, чьи права гарантируются и уважаются государственными институтами. Не Закон должен диктовать свою волю всем договорным отношениям, а, напротив, гражданская активность, проявляющая себя в разнообразии договорных отношений, должна быть как неизменной основой любых законодательных инициатив. Но то, что мы видим сегодня в российском обществе, это все тот же регресс массового сознания к архетипики утопий «лучшего» Закона. Недоверие и вполне справедливое ко всяким договорным началам общественной, экономической и политической жизни... Недоверие которое распространяется все глубже и глубже, захватывая и межличностные отношения, – выход только один: надежда-на... поиск «справедливого и лучшего» Посредника (Закон, Государство, Правитель). И даже сам обман (включая экономические представления) становится своего рода подтверждением этого желания перейти от беззакония к Закону: «Я ведь ловчу и обманываю не потому, что я хочу нажиться, своровать, попользоваться чужым трудом, а потому, что само Государство (в лице своих высших чиновников) выбрало стратегию тотального недоверия и стало на путь обмана. Иначе говоря, или я ворую или не выживаю». Отсюда, как мне кажется, сегодняшнее безразличие к слову, которое стало бессильным и более не в состоянии подтверждать ни совершение поступка, ни права личности, ни договоренности. Слово обессилело именно потому, что оно более ничего не значит

перед лицом действий власти, которая больше не говорит, не снисходит до диалога с «народом», и не слышит, так как власть оказалась авторизованной в одном единственном институте и одном единственном решении, которое принимается *Кем-то* или *Ими* молча, и в тайне (хорошо еще пока, что на глазах у всех). Старые коммунисты говорят: у нас не было такой свободы и распущенности, но зато был порядок, и разве так крали, как крадут сейчас. Старые воры говорят: в наше время домушник был домушником, карманник карманником, барыга барыгой, – все было на месте, и ни одно из правил воровской жизни не нарушалось... Почему? Да потому что был крепок воровской Закон на Руси. А сейчас, где этот закон, если воровать стало абсолютной необходимостью жизнью-выживанием. Старые демократы говорят: за что мы боролись и сидели в тюрьмах, разве за это? Разве мы боролись ради того, чтобы Первое лицо с откровенностью куклы (неважно осознает оно лично это или нет) воображает себя царствующей персоной, неким Сувереном, единолично принимающим решения и не несущим за него никакой ответственности, и собирающимся умереть на троне... в то время как вокруг процветает само оголтелый и беспардонный грабеж общественной и государственной собственности, в то время, когда... Старые интеллигенты говорят: да, мы служили власти, но даже власть прежняя, коммунистическая, была более культурна и цивилизована, так или иначе, но она, пускай, по-своему, высоко ценила нашу прослойку...

77. Приходится говорить об этих особенностях современного российского правового сознания, чтобы быть более реалистичным в определении общественной значимости такого важного международного документа как Всеобщая декларация прав человека. Например, почему мы не в силах отменить смертную казнь? Казалось бы все заинтересованные стороны согласны в том, что смертный приговор не в силах предотвратить тяжкое преступление, как не в силах это сделать и его более либеральные (сохраняющие жизнь) наказания. Однако с точки зрения прав человека (а эти права не отменяются и у преступника) Закон в лице государственных карательных институтов берет на себя функцию отнятия жизни, а по сути дела убийства, причем, вполне сознательного. С каждым казненным вновь восстанавливается древний институт мести. Человеческая жизнь остается прикосновенной с точки зрения Закона. Но ведь Закон стоит выше Государства, и даже выше прав отдельного гражданина, он не может сообразовываться с потребностями государства, и тем не менее он постоянно толкуется, изменяется в соответствии с ними. Отмена смертной казни сделала бы преступника автором своего собственного тяжкого преступления и тем самым Закон подтвердил бы свою моральную чистоту и объективность. Однако в современных условиях России отмена смертной казни проблематична. И либерально-демократическое требование приведения уголовного законодательства в соответствии с всеобщими правами человека остается пустым звуком. Ведь совершенно ясно, что отмена смертной казни (даже если она и произойдет), не будет иметь сколько бы значимого социального и правового эффекта в стране, где государство отказывается гарантировать его гражданам право на жизнь. Отвергнутое право на жизнь компенсировалось лишь одним реальным правом: *правом на выживание*. Высокая смертность, падение уровня жизни, разгул насилия, преступность и т.п. – полное обесценивание человеческой жизни – вот те факторы, которые препятствуют тому, чтобы российское общественное сознание хоть как-то могло воспринять основные статьи Декларации. Что же получается? А получается то, что ныне правящий политический режим (авторитарный по своим основным позициям) не соотносим вовсе с какой либо формой общественного Согласия и тем более с самой идеей договорных отношений, и, прежде всего потому, что пытается опираться на Закон (нарушение которого стал уже реально значимым функциональным элементом в системе принятия решений).

78. Упомянем об еще одном фундаментальном противоречии, анализом которого также не следует пренебрегать. Известно, что текст Закона – всегда Текст. Напротив, текста Договора не существует, ибо он не является Текстом, в том смысле, в каком такого рода текстом всегда является Законом, и поэтому должен непрерывно толковаться выбранными для этой цели и профессионально подготовленными служителями. Декларация *декларируется,* а это значит что ее основные статьи оглашаются, и не просто оглашаются, они подразумевают согласие любой из сторон, участвующих в ее подписании. Настоящая Декларация *обращена к признанию со стороны лич-*

ности ее права быть личностью, в то время как *Закон* предстает всегда как абстрактная надиндивидуальная форма, причем, обращенная не к правоспособному индивиду, и тем более не к его осознанию себя в качестве индивидуальной и неповторимой личности, а скорее как к личности изначально уже пораженной в своем праве быть личностью. Скорее верна формула: раз есть Закон, то есть и тот, кто изначально виновен. Закон, собственно, и воспринимается как напоминание о Вине того, кто ему должен следовать. Высший Закон и есть так называемый закон совести, первоначальной виновности человека.

79. Закон – это всегда область внешнего, объективированного сакрального Текста, который оказывается всегда вне той реальности, каковую нормализует, ограничивает, в какой признает ее несоответствующей своим статьям, положениям, исполнениям закона и принципам законодательства. Закон тем эффективней, чем в большей степени отчужден (и тем самым нейтрален) в равной степени от всех правоспособных субъектов. Индивид отчужден от Закона и тот для него непостижим, настолько напротив, всякий договор не может быть принят без согласия-понимания его. Однако, когда мы начинаем осознавать все лучше возможные условия принятия Декларации российским общественным сознанием, не следует упускать из виду, что эта Декларация скорее обязывает правителей придерживаться определенный морально-правовых рамок, и что на самом деле Декларация не может быть реальным документом, регулирующим правовые отношения в отдельно взятом государстве. Даже изменение (или «подгонка») Закона в духе Декларации не ведет автоматически к действительному согласию общества в отношении человеческих прав. Почти каждая статья Декларации неотразимо истинна как общечеловеческая ценность, но столь же эфемерна и недействительна в границах, например, национального Уголовного кодекса. Вот почему, подобная Декларация сегодня скорее относится к регуляции возможных межгосударственных отношений. Ведь, по сути дела, если рассуждать политически, она вводит контроль со стороны западно-европейских институтов над правовыми институтами не западных обществ («развивающихся»). И в той мере, в какой последние заинтересованы в европейском пути развития, они и будут формально ориентироваться на Декларацию, и, повторяю, только в тех пределах, какие устанавливаются Законом, Традицией или Обычаем данного сообщества. Вот почему, вероятно, следует развести, наше индивидуальное правовое самосознание (если таковое вообще есть и имеет смысл), и правосознание, которое вводится, как отношение межгосударственное, и отличать и то и другое от того массового общественного сознания, которое не выбирает (и не может выбрать) для себя ни первую, ни вторую форму.

80. Сегодня массовое сознание скрыто охвачено вялотекущей паникой, точнее, оно склонно к панике в силу своей продолжительной апатии и безверия... в силу своей неспособности влиять на процессы принятия решения. Высшая власть, вступив в авторитарную фазу, разом отказалась от гаранта всех необходимых жизненных прав своих граждан, но сами граждане были настолько потрясены этим, что до сих пор эта травма, что потрясла посттоталитарное общество, раздробила его, ввела новые варианты социального неравенства, оказывается столь сильной.

[Острог и кандалы]

81. Действительно, а была ли в России тюрьма (если, конечно, под тюрьмой мы будем понимать не только место наказания, но и специфический социальный институт, имеющий свою историю, развитие, цели)? Вероятно, ответ должен быть отрицательным. Невозможно себе представить появление тюремной фантазии Бентама – *идеальной архитектуры тюрьмы* (описанной некогда М. Фуко) – в российском имперском сознании дореволюционной, коммунистической и посткоммунистической эпохи. Идея реформы пенитенциарных заведения в России не получила должного развития в тюремных проектах (начиная с Екатерины II). Тюрьма не имела места в обществе в качестве правового института (и надо сказать до сих пор его не имеет), она имела только карательный смысл, не охранительно-воспитательный, не нравственный. Тюрьма «была» и «не была». Действительно, если мы будем рассматривать каторжные работы («сибирскую каторгу») в

качестве разновидности тюремного института, то в таком случае тюрьма «была». Но если мы все-таки попытаемся понять тюрьму несколько иначе, т.е. как социальный институт, то нам придется признать, что тюрьмы именно как социального, правового института в докоммунистической и посткоммунистической России никогда «не было». Но все-таки, что значит этот вопрос: *была или не была* тюрьма в имперской (советской) России?

82. Основная причина подобного положения, вероятно, в поздней отмене крепостной зависимости. В силу этой глобальной причины «скорый» помещичий суд над своими холопами устранял фактор тюрьмы, одновременно устранялось и всякое правовое представление о системе «справедливого наказания». В границах же крепостного права каждый помещик являл собой господина-деспота: имел свой «театр», своих «живописцев», своих «мастеровых», и свою «тюрьму». Вот когда расцветает вся пыточная идеология, кнут приравнивается к единственно справедливому, «отеческому» наказанию. Телесные наказания наряду с каторжными работами становятся наиболее приемлемым экономически замещением тюремного заключения. История телесных наказаний и есть единственная история становления института тюрьмы в России. Почему? Прежде всего потому, что царская тюрьма на протяжении столетий оставалась своего рода отстойником для всех тех, кого общество карало, местом, которое никаким образом не должно было сообщаться с самими обществом. Преступник изгоняется из общества, помещается в яму, заковывается в кандалы, лишается самых необходимых условий существования и тем самым наказание вовсе не сводится к поражению в правах через ограничение свободы распоряжаться собой. Да как оно могло иметь его, если заключенный, будучи «членом общества» не имел, фактически, никаких прав; или они могли быть отняты в любой момент по воле высшего судьи, самодержца. Следовательно, фактор страха перед лишением свободы долгое время действовал в купе с прямым физическим страданием. Достаточно проследить использование тюремного заключения в России на протяжении XVIII-XX века. Неудача всех проектов реформирования царской тюрьмы заключалась в том, что тюрьма была лишь приложением к массовому применения телесных наказаний. Долгое время они не просто сопровождали, но отменяли смысл тюремного заключения. Все первые попытки преобразования и улучшения тюремного дела в конце концов вылились в широкое использование «подсобных помещений»: монастырских тюрем, крепостей, казематов, куртин, замков, вплоть до ям и землянок. Но нигде мы не встретим даже намеков на тюремную архитектуру.

83. В течение последних двух веков, до рубежа 20-го неизменный принцип тюремной архитектуры – **острожный**. Тюрьма и есть острог, о-строг, строгое держание, в то же время частокол острог, которым огораживается место от внешнего нападения... Отсутствие воли к реализации тюремной реформы. Чрезвычайно медленное строительство новых тюрем (и по всему тому же острожному канону) оказалось существенным фактором, тормозившим отмену телесных наказаний. Острожный принцип заключения в простоте своей цели может быть выражен так: *не дать убежать*. Другими словами, не столько помещать, заключать и сажать под замок, сколько лишать возможности узника каких-либо шансов на побег. И чем в меньшей степени острожное здание соответствовало этой цели, тем в большей степени определяющую роль играла процедура заковки и перемены кандалов. Острог немыслим без кандалов во всем разнообразии их видов, веса, применения к различным частям тела и ограничению способности арестанта к передвижению днем или ночью. Кандальная цепь становится знаком арестанта, отчасти характеристикой его нрава и тяжести преступления (хотя и эту закономерность трудно проследить со всей точностью). Каторга – это прежде всего кандалы, полный контроль за телом, независимо от какого-либо внешнего надзора. Главное, повторяю, – не дать убежать. Таким образом, речь идет о радикальном разрыве между тюрьмой и самим обществом, отсутствует какая-либо обратная связь. Вся практика наказания еще долгое время фокусируется на человеческом теле. Причем, эта практика подчиняется правилам, не имеющим никакого отношения к исправлению преступника или его перевоспитанию. Физическая уязвимость человеческого тела, так как владелец караемого тела не имеет на него особых прав; оно остается главным объектом приложения сил для карающей власти. **Отсутствие права на собственное тело** – архаизм крепостной юрисдикции. Побег или то, что в русской традиции определялось как воля, но не

к свободе, а как воля от крепостной зависимости, дать вольную, выйти на волю, высвободиться от любых внешних обязательств и обязанностей, – это значить получить волю. Заметим, что идет речь не о воле-к, а о воле-от... И в этом все дело. Ведь ясно, что воля-к требует концентрации усилия на определенном результате, более того ограничения, которое налагается на свободу волеющего индивида; он не свободен в своей воле-к. В то время как воля-от это и есть свобода от всего, что могло бы заставить тебя стать волеющим, ответственным за свой выбор, за свое «воление» гражданским субъектом. Бежать, скрываться, исчезнуть, не быть- все это очень важные социальные характеристики индивида, который никак не может вырваться из-под крепостнической государственной опеки. Почему же этот архетип «бегства» столь устойчив, почему к нему прибегают всякий раз, как только чувствуют, что их социальное инкогнито раскрыто? Государство (в лице российского чиновничества, ибо оно взяло на себя «бессмертное право» выступать от имени Закона) – это ВРАГ. Но если это так, то государство не получило еще до сих пор никак легитимации в глазах общественного мнения, и не может получить, ибо оно в силу длительного имперского наследования разнообразных карательных функций не признает за частным лицом никаких прав, которые оно могла в любой момент нарушить, извратить, а то и отнять. Как это ни прискорбно, но приходится свидетельствовать в пользу этой пессимистической точки зрения. Все верно. Государство – это самый страшный враг гражданского общества. Последнее десятилетие лишь продолжает накапливать все новые и новые факты этой «успешной» борьбы государства с обществом.

84. Можно, конечно, сказать, что право на жизнь и человеческое достоинство в российской тюрьме никогда не действовало. Но можем ли мы использовать современные представления о праве личности в сравнительном историческом анализе? Вопрос остается открытым! Российская тюрьма – это прежде всего место наказания, причем, наказания весьма специфического, ни качественно, ни количественно не соотносимого с вынесенным приговором.

[Полустанок]

85. Назвать ГУЛаг тюрьмой крайне трудно. Говорить о ГУЛАГе – это значит говорить о лагере как едином принципе организации пространства заключения. На первый взгляд, генеалогия ГУЛАГа легко прослеживаема. Я думаю, она восходит к первым «коммунам» 20-х годов и постепенно, со все большей гулагизацией социального и природного пространства получает распространение в виде идеи коллективного трудового лагеря (пионерские лагеря, лагеря отдыха, военно-патриотические вплоть до создания содружества прокоммунистических государств: «соцлагерь»). Но присмотримся к следующему моменту. Когда мы говорим о лагере, мы имеем в виду прежде всего неопределенность покрываемого этим термином социального или географически данного пространства. Лагерь разбивается, его можно разбить где угодно. Военный лагерь, который разбивается где угодно (расположиться лагерем – это готовиться к решающему сражению). Однако, понятие лагеря не получает топически определенного смысла. Я полагаю, что в данном случае было бы уместнее использовать понятие колонизации, в том старом геополитическом смысле, которое ему придавалось в конце XIX века. Но прежде обратим внимание на биосоциальное определение колонии. Не поленюсь посмотреть у Брокгауза-Ефрона: «В широком смысле слова, К. можно называть всякое сочетание индивидов низшего порядка для образования индивида высшего; поэтому всякое многоклеточное животное можно считать колонией клеточек» (Энциклопедический словарь. С.-Петербург, 1895, Т. 15, С. 748). В своем общем направлении колонизация как геополитически, экономически или миссионерски направленная деятельность включает в себя выше определенную цель. Организацию (насильственную и ненасильственную) случайных элементов, «слабо организованных» или «организованных иначе» в единое новое органическое сообщество. Там, где утверждается идея лагеря, там же и реализуется некая скрытая цель будущей колонизации. Римская колонизация, греческая колонизация, немецкая колонизация....

85.1. Я веду к тому, что «исправительно-трудовой лагерь» – это организация того же самого множества на основе иной, «более высшей» идеи. Теперь, когда мы установили некий внутрен-

ний принцип организации лагеря, мы должны сделать следующий шаг. Ведь ГУЛАГ – это особый лагерь, и даже не просто «архипелаг», это громадная страна, что невидимо существовала и расширялась во времени и пространстве сталинского режима... Мы должны ввести элементы географического мышления, чтобы понять ГУЛАГ …

86. Можно рассматривать историю России в терминах внутренней и внешней колонизации. История России, это «история страны, которая колонизуется» (Ключевский). А это значит, что страна или значительные части ее населения находятся в *постоянном движении*. Оглянувшись чуть назад, понимаешь насколько духовное усилие русской культуры XIX-XX века, все ее известное непосильное напряжение, трагедия так или иначе замыкалась на проблеме *пространства без-и-внеграниц*. Не всегда и не во всем, но во многом кризис национальной идентичности своими глубинными корнями ускользал к этой неразрешимой проблеме. В русской культурном опыте сформировалось совершенно иное представление о границе. Можно сказать, что граница никогда не была синонимом разумного и необходимого ограничения, расчета, перевода временного усилия в пространственный эквивалент, «вещь», «образец». *Не История, а только География могла стать королевской наукой империи*. В дальнейшем, в эпоху сталинской «индустриальной революции» и после нее основным фактором освоения громадной территории стала внутренняя колонизация: ее малые и большие волны сменяли друг друга. Это движение соответствует непрерывно возобновляемому в обществе закону о чрезвычайном положении. Главной целью имперской государственности оставалось охранение внешних границ (географических) и продолжение экспансии, меняя ее направление скорость, интенсивность и силу. Сама же государственная власть постепенно выродилась (со всем своим многочисленным аппаратом надзора, контроля и наказания) в некий придаток к целям «захвата пространства», – эксплуатации природных богатств, которые все, в конечном итоге, шли на воспроизводства средств захвата и удержания этого пространства. От «одного захвата к другому». Мегаломания чиновников сопутствовала этой странной и упорной войны с пространством (что стоит хотя бы недавний проект «Поворота рек»!). Все виды сообщения, технические средства коммуникации и обустройства территории не ориентировались на создание жизнеспособных инфраструктур. Если они и создавались, то только в качестве временных сред человеческого обитания, прилагаемых к добывающим или военно-промышленным комплексам. Рабский труд зэков поддерживал пафос романтических миграций комсомольской молодежи. («Великие стройки», «Целина», «БАМ»). Я не говорю об «объективных» трудностях освоения такого обширного пространства, они очевидны. Я говорю об общей стратегии этого «освоения», о той *экономии жизни,* которую она полностью определяла

87. Сталинская колонизация опиралась на ГУЛАГ, именно эта невидимая колонизация являлась главной направляющей силой *индустриализации и коллективизации*. Естественно, что этот способ колонизации, или внутренней колонизации никак нельзя свести к европейски цивилизованному освоению новых пространств и территорий. Лагеря ГУЛАГа не создавали необходимой для освоения техно-социо-культурной инфраструктуры, да и она не требовалась, ибо всякое стратифицированное пространство опасно для политического режима, приводным ремнем которого всегда был миф о продуктивности непрерывно применяемого насилия. Громадная масса переселенных людей, «строителей коммунизма», постепенно потерявших всякую социальную опору, духовно-культурную память, полчища зомби, – даже они не смогли освоить эти колоссальные пространства с суровым климатом. Сталинская колонизация Севера, Сибири и Дальнего Востока оставалась самоцелью государственного разума, расширяющего свои границы, т.е. определялась абстрактными стратегическими механизмами такого типа функционирования власти. Таким образом, тоталитарный государственный Разум непрерывно создавал для себя особые пространства, «чистые пространства», которые оставались невидимыми, даже несуществующими, но только с их помощью могли быть в любой момент перемещены народы, только с их помощью без остановки шел процесс изъятия национальных природных богатств. Ради чего? Ради защиты географической целостности территории (эксплуатируемой)? Ради улучшения жизни «трудящихся»? Ради «равенства, братства и свободы»? Конечно, нет! Российская империя, завершившая в

«сталинский эпоху» переход от внешней, «пространственно-географической» колонизации к *внутренней колонизации*, приобретала все более жесткие тоталитарные формы

88. ГУЛАГ и есть такое невидимое, чистое пространство. Это – отсутствующий социум, или более парадоксально, он присутствует в легальных образах социальности через свое отсутствие или исключение. Можно, конечно, и ввести образ скрытого, фантомального двойника для сталинского социума. Удваиваются все отношения, в которые люди вступают между собой и с властью. С одной стороны, ГУЛАГ – это «лагерь», – место заключения и гибели миллионов людей, – а с другой, не просто «лагерь», но и нечто, что имеется в голове каждого советского гражданина. Пишем «Сталин», а ГУЛАГ держим в уме. Я хочу сказать, что даже те, кто не ведал о размахе сталинского террора, всегда имел в голове свой ГУЛАГ.

89. При сталинском режиме возможность применения террористических действий поддерживалось массовым распространением вины. Быть виновным – это быть зараженным виной. Вина – род психо-социального заражения. Патетическая масса, послушная нацистскому режиму, возникает на фоне отказа от чувства национальной вины (Версальский договор). Представление о территориальной, этнической и биогенетической идентичности нации формируется одновременно с тотальной милитаризацией общественной жизни. «Желать войны» – вот лозунг, создающий всеобщий терапевтический эффект ожидания для массового сознания. Направление террористических акций строго локализуется, их острие направлено во вненациональные пространства. Бурная реакция переноса, вина нации смещается на другие национальные общности и объединения (евреи, цыгане, славяне и т.п.) Создается и выращивается с поразительной быстротой культ Внешнего врага. Сталинский террор скорее следует определить как диффузный, он был направлен на борьбу с Внутренним врагом, чей образ в зависимости от распространения волн террора постоянно менялся, поглощая ту или иную часть населения. Диффузность образа как раз и заключается в том, что врагу позволяют «овнутриться» в ближайшем к властным механизмам социальном пространстве, этот искусственный вирус лучше заражает, но не может быть в силу природы заражения быть раз и навсегда локализован в какой-либо страте (корпорации, группе или отдельной личности). Это открытый тип террора, чувствительного к постоянной эскалации. Точки приложения его сил, направленных против жизни, постоянно смещались, и их смещение ничем не было ограничено, разве только самим человеческим материалом, его сопротивляемостью, массой и объемом. Насаждение образа внутреннего врага – это и есть развертывание чувства вины. «Если ты невиновен сегодня, то будешь виновен завтра!» На сцену выступает прогностика вины. Но осознать вину – значит признать не свою актуальную вину, а потенциальную. Личная, актуальная виновность навязывалась с трудом, под пытками и угрозой смерти близких, но зато общепризнанной оказалась вина *in potentio*. «Я не виноват, это правда, но Другой ведь он может быть виновен! не поэтому ли я арестован, что виновен Другой?» Знаковое замещение: всегда существует некто Третий (шпион, диверсант, бандит, троцкист, изменник и т.п.), из-за которого приходится страдать «честным и преданным людям». Вина смещается на анонима, но чувство страха растет, ведь потенциальная вина – это вина всех, «круговая порука виновности»; не она ли вновь оживляет древний и испытанный институт заложничества? Каждый оказывается заложником другого. Можно сказать и иначе, страх перед исчезновением рождается в тот момент, когда будущая жертва вдруг осознает тот факт, что потенциальная виновность кого-либо не зависит совершенно от какого-либо проступка. Актуализация вины каждого отчуждается в пользу самого репрессивного института. Страх перед исчезновением омассовляет. Потенциальная виновность является активным ферментом, порождающим массовый страх и беспокойство. В эпоху сталинского террора страх был непосредственно локализован в каждом человеке, вина же была ему смежна, но они друг друга подпитывали, никогда не совпадая.

90. Важно различать, на мой взгляд, ГУЛАГ и террористическую машину: первое – лишь ошеломляющий результат второго. Другими словами, машина террора со всеми ее правилами, механизмами и «недостатками» действовала в определенном направлении: она перекодировала, заме-

щала и исключала. Отдельный индивид (личность), попадая в полей ее действия претерпевала ряд существенных изменений своего социального и человеческого статуса. Перекодирование, – это значит ты опознаешься по определенной выборке оппозиций, например, свой-чужой, враг-друг и т.п. Получая отрицательный код, ты уже замещен другим индивидом, который получает положительный, для которого еще не пришло время новой перекодировки... Жертвы перекодирования – все. Нет избирательной группы населения, ибо машина террора – это машина расширяющегося насилия, а не выборочного. Конечно, ее действие избирательно, но только потому, что оно уже тотализовано на всех уровнях общественного организма. И последний акт драмы: *исключение*. Перекодированный, уже замещенный, ты исключаешься из своих гражданских и человеческих прав, ты как бы *человек-никто*, или, проще выражаясь, *нелюдь*. Только на этой стадии процесс действия террористической машины можно считать завершенным. Другой вопрос, – это как ты будешь наказан: смертью или длительным сроком в лагерях? Собственно, все это относится к формально-юридической процедуре исключения. Однако, сам процесс деперсонализации окончен.

91. Я лишь хочу подчеркнуть, что все эти карательные органы от ВЧК, НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ осуществляли тотальную перекодировку граждан страны, в чем-то это даже похожей на перепись населения («ненужное вычеркнуть!»), и это вполне «адресные» террористические действия. Власть, которая подменяет собой Закон, и есть власть террористическая. Террором или террористическими могут быть названы такие действия властей, которые вызваны исключительно политическими «соображениями». К тактике устрашения населения («всего или отдельной части») прибегают в том случае, когда полагают, что просто захват власти недостаточен, власть отдельной группы над обществом должна быть *абсолютной*, в противном случае, она – «слаба» или *недостаточна.* Получается так, что власть осознает себя преступной, т.е. обретенной благодаря узурпации, и поэтому всегда ожидает мести.

Этим синдроном страха перед недостаточностью властных полномочий и был болен сталинский режим.

[Понятие границы (гео-политическое)]

92. Бесспорно, если обдумывать модель «Запад-Восток», прибегая к аргументам Данилевского, О.Шпенглера или Л.Гумилева, то от нее сразу же следует отказаться как от заведомо устаревшей, и исчерпавшей свои идейно-познавательные, идеологические и геополитические, и прежде всего технологические основания. Противостояние между Западом и Востоком сменяется совершенно новой формой взаимоотношения между двумя исторически извечными полюсами напряжения и противоборства: современная Россия и Европейский Союз (НАТО). На пороге нового тысячелетия наконец-то обозначились четкие ориентиры: это *новоевропейская колонизация Востока*. Этот, на первый взгляд, слишком «сильный» тезис требует пояснения.

93. Кто сказал, что эта ожидаемая колонизация (как иногда говорят «вестернизация») нам в новинку. Российская империя постепенно, начиная с послепетровского времени, подвергалась все более сильному европейскому культурному влиянию и тем не менее оставалась сама собой, т.е. была неевропейской страной, но также и неазиатской. Почему? Да прежде всего потому, что это культурное влияние не только ограничивалось определенным кругом населения (высших, отчасти средних слоев), но никаким образом не могло разрушить этот тысячелетний и жуткий симбиоз имперской власти и пространства. Столь неопределенное в своих границах пространство требует сильной власти, чтобы это пространство удержать в достигнутых пределах (границах). Русская колонизация никогда не была культурной, прежде всего она направлена на пространство: эту имперскую колонизацию в основном интересует не человек живущий на земле, а скорее сама земля, причем понимаемая опять-таки лишь географически (без человека). то. что на эти большие пространства мало кто мого притендовать и позволило осуществить широкую экспансию империи на Восток.

94. Прежде всего под колонизацией не следует понимать насильственный цивилизационный процесс, который с самого начала предполагает потерпевшую сторону, униженную и оскорбленную, якобы обреченную на потерю своих оригинальных и самобытных черт, места в мировой Истории и т.п. Грядущая колонизация, как мне представляется, будет длиться не одно десятилетие, будет достаточно «мягкой» (без милитарных эксцессов, или во всяком случае, надеюсь, они будут минимизированы). И уж вовсе я не хочу сказать, что Европейский Союз (и страны НАТО) вынашивали свои «коварные» планы и вот теперь пришло время их претворения в жизнь. Эта колонизация настолько вынужденная для Запада, насколько, возможно, необходимая для территории России и населяющих ее граждан. Действительно, приведу наглядный пример. Представим себе физическое пространство, в котором действуют разно направленные силы экспансии

95. Другое дело, каковы ее будущие темпы, каковы будущие потери и приобретения? Наблюдая за процессом упорядочивания очереди государств, желающих вступить в «Европу» и получить знаки европейской государственности («нормальности»), нельзя не увидеть движение начавшегося колонизационного процесса. Стремление быть принятым в семью демократических и цивилизованных народов отличает сегодня среднестатистического (электорального) эстонца, украинца, венгра, литовца, латыша, поляка, чеха от русского, для которого ценности имперского сознания не пустой звук. Ничто, даже желания не могут быть однозначными: иногда бывает и так, что желание быть колонизованным может покоится на желание быть имперским (варварским). В любом случае движение Запада на Восток вызвано прежде всего резким нарушением процессов внутренней колонизации России. «Если ты себя сам не колонизуешь, тебя колонизуют другие».

Колонизация – необходимый цивилизационный процесс, который не может останавливаться

96. Я хочу подчеркнуть что процесс внутренней колонизации, является процессом непрерывным и неотменяемым (в отличие от колонизации внешней экспансионистской). Но вот то, обостренное противоречие, можно сказать трагическое, между внешней колонизацией и внутренней присуще российскому государственному устройству. Действительно, если внешняя экспансия могла быть поддержана внутренними колонизациями (*индустриализация. коллективизация, или милитаризация* хозяйственной жизни, что было отличительным клеймом империи СССР; сегодня – это *капитализация и криминализация экономики*). Внутренняя колонизация переживает критический период, ибо перед ней не поставлено никакой реально достижимой цели. Можно сказать, она остановлена в силу отсутствия и необходимых ресурсов. Что, как и в какое время и каком пространстве колонизовать?... Да и она пока не может начаться. Проблема заключается в том, что необходимо заново колонизовать традиционно имперский гео-стратегический милитарный Разум, т.е. некое над-национальное *психическое и ментальное пространство*, то, что еще недавно представляло собой хотя бы по форме все качества советскости (или русской имперскости). Кем еще недавно был житель империи? Это прежде всего (в лучших человеческих типах): естествоиспытатель, географ, завоеватель и путешественник. Широта взгляда, готовность к риску, воля и энергия. Его над-национальная способность к видению собственной страны и населяющих ее народов определялась общей территориальной картой (1/6 часть света), он всегда мыслил географически... Типичный пример утопия евразийства, самая «образцовая» географическая утопия

97. Мировой технологический разум (сюда можно включить помимо США и европейские страны) теперь уже делает следующий и весьма решительный шаг к полному преодолению каких-либо гео-политик, и это очевидно настолько, что позволило П. Верилио попытаться набросать конспект новой милитарной стратегии Запада – *хроностратегии*. Идея хронополитики есть не столько отрицание гео-политики, сколько отказ от использования самого пространства, определяемого антропоморфными границами. Ирак («Буря в пустыне», и последующие ограниченные ракетные удары) Косово, – да и любые другие конфликты сегодня могут быть на более ранних стадиях остановлены «точным» применением силы

98. С падением Берлинской стены (1991) разрушилась самая западная из границ СССР тоталитарной империи. Именно с этого времени объединение Европы и становится возможным и даже необходимым. Однако обратим более пристальное внимание на то, как изменяется отношение к понятию **границы**. Вводятся все новые и новые санитарные, юридически-правовые, экономические, экологические и военные кордоны (западноевропейские «стандарты» цивилизованности). Центрально-европейские, «малые» государства образуют буферную зону вокруг России, а сама Россия становится зоной санитарного контроля. Хуже того, вступая вольно или невольно на путь внешней колонизации и контроля за соподчиненными европейскому Разуму государственными образованиями, Европа лишается постепенно критериев, объясняющих природу и конечные цели ее внутренней колонизации (принцип «европейского объединения»)

99. Европейская цивилизации именно в ее само колонизуещейся функции обладает мощным духовно-культурным ресурсом: *идеологией суверенного (европейского) Разума.* Что же это за разум? «Европейский Разум» – не столько *европейский*, сколько Разум как таковой. Это разум, предписывающий законы, в том числе и те, которые ограничивают его самого, но не его автономию и нейтральность. Не нужно быть геополитиком, чтобы увидеть, какую высокую ценность для европейского сознания всегда имел фактор границы, о-граничения и само-ограничения. Классическая немецкая философия (прежде всего в лице Канта) обозначила для критической мысли одну задачу: проводить одни границы, а внутри них или поверх утверждать другие и т.д. Мыслить – это утверждать границу, *от-раз- и-о-граничивать*. Мысль относится к сфере *чистого* Разум, т.е. она должна быть безукоризненным инструментом ограничивания. И чем больше мы присматриваемся к историческому развитию западно-европейской модели Разума, тем больше мы видим, насколько он связан с проработкой идеи границы во всем многообразии ее качеств и функций. Естественно, что понятие границы не может быть сведено лишь к проблеме политико-государственного устройства той или иной национальной территории. Границу следует понимать как изначальное условие стратификации жизненного пространства в целом. Разграничивать – это наделять пространством, ибо граница – основной принцип деления жизненного пространства. Единое европейское пространство (свободный, без-граничный обмен информацией, перемещения людей, товаров, услуг и т.п.) – это не отказ от границы в пользу некой аморфной безграничности всеобщего обмена. Совсем даже напротив, это новое утверждение границы в том смысле, что территориальная, внутренняя граница постепенно лишается значения (хотя и не отменяется), в то время как внешняя граница становятся все более жесткой, более того, – экспансионистской, и начинает свое движение... на «Восток» Новый европейский режим границ учреждается на наших глазах, но учреждается на все тех же основаниях посткантовского Разума.

100. Суверенность европейского Разума всегда определялась его способностью превращать человеческое усилие в *исторически* завершенную пространственную форму. Другими словами, европейская цивилизация разделяя и ограничивая, исчисляя и измеряя время добилась столь технологически значимых результатов (в течении последних веков), что время потеряло свою разрушительную и спонтанную силу. Любое социальное или «жизненное» время должно быть переводимо в пространственный эквивалент или стандарт. Вот здесь и приоткрывается смысл европейского Разума как Истории, ибо историческое чувство западного человека формировалось на основе лишь тем, насколько он умело пользуется повседневным жизненным временем, как он его расходует, превращает, использует, перераспределяет, учитывает в своих повседневных планах и проектах. Проектирование времени в пространстве и есть универсальная черта европейского цивилизующегося сознания.

101. Достаточно напомнить, например, о своеобразной геополитике немецкой философии и культуры XIX-XX века. Ф.В. Гегель, Ф. Гельдерлин, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, – я беру лишь политически не ангажированные и крупнейшие фигуры западной мысли – например, видели возможность нового само обоснования европейского Разума в восстановлении памяти о духовном насле-

дии древней Греции. Цивилизационная миссия Европы нуждалась в воссоздание своей духовной родины, подлинной и первой Европы, откуда исходит необходимость в духовном единстве всех европейских народов (но на основании уже не римской колонизации, а только греческой). Или часто повторяемые во французской культуре того же периода попытки построить весь порядок индивидуального чувственного опыта на Платоновском принципе анамнеза (М. Пруст, А. Бергсон, К. Леви-Стросс, М. Фуко). Воспоминание, память, «чувство Истории» – все это символы индивидуализации, или духовной проработки внутренних границ существования на основании предыдущего опыта, который не может быть стерт или предан забвению. Память как основная композиция свободной и правовой личности, чья автономия вновь и вновь утверждается в каждом акте непроизвольного воспоминания

102. Однако стоит упомянуть здесь о неразрешимом (пока?!) противоречии между созданием единого информационного пространства Европейского Союза и настойчивым утверждением ценностей европейского Разума. Возможно, это противоречие, как многие надеются, даст новый толчок к развитию Европейского Сообщества. Возможно... Но противоречие между внешней и внутренней колонизацией указывает, что последняя в силу своего интенсивного характера, вносит существенные коррективы. Поскольку внутренняя ориентируется не на традиционные «европейские» ценности, а обусловлена становлением технологического Разума. Все дело в том, что европейский Разум, вошедший в сверх интенсивный этап своего технологического развития не в силах контролировать изменения, происходящие на уровне традиционных европейских индивидуальных ценностей. Более того, постепенно исчезает критический потенциал европейского Разума, его способность к саморефлексии и радикальной критике собственных институтов. Наступает эра технологического бесправия. Рождается совершенно иное общество, в котором принцип индивидуальности, ее права, память, чувственный опыт, традиция будут уже мало что значить, ибо технологический Разум, вероятно, это уже иной вид Разума, который не имеет не памяти, ни прав, ни собственного восприятия, для него время не существует, ибо сам есть объективированное время. Технологический разум уже сейчас прекрасная машина по уничтожению всех образов времени в западно-европейской культуре. Нельзя отрицать противостояние этому виду нового европейского Разума, но оно лишено опоры в новой *не-технологической* идеологии и поэтому не в силах ответить на вызов.

103. Если же мы будем настойчивы в нашем противопоставлении «Европы» и «России» (даже, если кому-то покажется, что я пытаюсь реанимировать стародавние славянофильские мифы), то мы заметим, что линия/граница противостояния проходит не столько в области реальных отношений между государствами или людьми, а скорее в сфере двух представлениях об определяющих экономии жизни факторах: Разум (посткантовский /технологический) и Разум государственный (тоталитарная и постоталитарная формы). Российская имперская государственность, в сущности, знает всего лишь две стадии «развития»: *расцвет и распад*. В этих двух предельных состояниях, как мне кажется, и развертывается то, что мы называем после Ключевского историей России. Раскинувшаяся на десятки тысяч километров «русская Равнина» представляет собой до сих пор недостаточно обустроенное для нормальной жизни пространство. Российское пространство не знает своих собственных границ, оно без-гранично, или остается вне границ. Даже внешние границы государственности никогда не были точно определены, и в основном совпадали с географическими границами. Совершенно ясно, что тот путь внешней колонизации, который избрала Россия (после Петровской реформы), подтверждающей постоянную экспансию на Восток был построен лишь на «захвате пространства». Каждая власть, особенно имперская (как деспотически-тоталитарная) требует для себя определенного пространства, которое захватывает и присваивает, стремясь обрести вечные, почти египетские черты. Уникальность отечественной истории определяется тем, что территориальные границы (то есть границы указывающие на тип власти) никогда и вплоть до настоящего времени не соответствовали культурно освоенному пространству. Извечный разрыв между политической географией территорий и жизненным пространством.

104. История России, это «история страны, которая колонизуется» (Ключевский). А это значит, что страна или значительные части ее населения находятся в постоянном движении. Оглянувшись чуть назад, понимаешь насколько духовное усилие русской культуры XIX-XX века, все ее известное непосильное напряжение, трагедия так или иначе замыкалась на проблеме пространства *без-и-вне-границ*. Не всегда и не во всем, но во многом кризис национальной идентичности своими глубинными корнями ускользал к этой неразрешимой проблеме. В русской культурном опыте сформировалось совершенно иное представление о границе. Можно сказать, что граница никогда не была синонимом разумного и необходимого ограничения, расчета, перевода временного усилия в пространственный эквивалент, «вещь», «образец». *Не История, а только География могла стать королевской наукой империи*. В дальнейшем, в эпоху сталинской «индустриальной революции» и после нее основным фактором освоения громадной территории стала внутренняя колонизация: ее малые и большие волны сменяли друг друга. Это движение соответствует непрерывно возобновляемому в обществе закону о чрезвычайном положении. Главной целью имперской государственности оставалось охранение внешних границ (географических) и продолжение экспансии, меняя ее направление скорость, интенсивность и силу. Сама же государственная власть постепенно выродилась (со всем своим многочисленным аппаратом надзора, контроля и наказания) в некий придаток к целям «захвата пространства», – эксплуатации природных богатств, которые все, в конечном итоге, шли на воспроизводства средств захвата и удержания этого пространства. От «одного захвата к другому». Мегаломания чиновников сопутствовала этой странной и упорной войны с пространством (что стоит хотя бы недавний проект «Поворота рек»!). Все виды сообщения, технические средства коммуникации и обустройства территории не были ориентировались на создание жизнеспособных инфраструктур. Если они и создавались, то только в качестве временных сред человеческого обитания, прилагаемых к добывающим или военно-промышленным комплексам. Рабский труд зэков поддерживал пафос романтических миграций комсомольской молодежи. («Великие стройки», «Целина», «БАМ»). Я не говорю об «объективных» трудностях освоения такого обширного пространства, они очевидны. Я говорю об общей стратегии этого «освоения», о той экономии жизни, которую она полностью определяла

105. Образы двух границ витают над каждым планшетом имперского атласа и оба внешние по отношению к индивиду:

а) *Одна* граница, которая лежит в далевом, ускользающем образе безграничной воли и произвола государственного (имперского) Разум. Этот разум приводит в действия механизм колонизации, и пока этот механизм продолжает функционировать то не возникает вопрос о распаде имперского государственного устройства. Внешняя колонизация ослабляется в пользу внутренних, и чем сильнее перевес последних, тем больше проблем в развитии внешних формах экспансии. Как только эти волны колонизаций стихают, то воцаряется стадия распада. В современном посттоталитарном обществе процессы внутренней колонизации претерпели серьезные изменения. Все этапы «перестройки» 90-х голов российское общество проходило в надежде на быстрый переход в иную политическую и социально-экономическую систему. Но что же произошло на самом деле? Не отсюда ли все эти экстатические переживания пространственного опыта, которыми так богата отечественная литература и философская мысль конца XIX века начала XX-го века?

б) *Другая* граница, толкуется как выражение запрета, некая *временная фикция*, установленная в виде пространственной черты произволом чужой (чиновничьей) воли («если тебя в чем-то ограничивают, то, следовательно, наказывают»). В тоталитарном государстве она преобразуется в разветвленную технологию запретов. Каждый житель территории может опознан в той системе запретов (наказаний), которая необходимым образом регулирует все взаимоотношения в обществе. Редкая разновидность полного пространственного отчуждения от ближайшей среды жизни (отчуждается даже право на собственное тело). Я хочу сказать только одно: что всякое ограничение понимается как запрет и, следовательно, должно быть нарушено. Ограничение понимается негативно, не позитивно. Запрет, устанавливающий границу есть акт произвола,

«чужой воли», отнимающей у тебя право на собственную волю к запрету. Государственный разум создает это бесконечное поле социальной мимикрии, где каждый житель территории все время балансирует на грани собственного произвола и нарушения установленных правил, ибо правила временны и определяются ситуативной государственной выгодой.

[Страх перед заражением]

106. Основная мысль: перед угрозой всеобщего заражения строится стратегии новых экономий вы-живания: контроля за тем, что вышло из-под контроля. Преследуются и репрессируются лишь внешние признаки глобального процесса заражения, скорее отслеживается симптоматика заражения, но ее причины ускользают от наблюдения. Изначально предполагается: все, что смешано, тем более, все, что стремиться к слиянию, что получает удовольствие через заражение осуждается европейской цивилизацией. Вечный противник – вечное зло. Однако если мы присмотримся к человеческой природе, то увидим, что не просто склонна существовать в различных формах заражения, но это ее суть. Жить – это значит смешиваться, исчезать, растворяться, короче, быть зараженным. Однако цивилизованный европеец, в частности, тот всеобщий стандарт цивилизованности, которые он защищает, обусловлен тысячелетним опытом очищения, чистоты, индивидуации, контроля за собой, введением границы или запрета. То, что запрещается, оказывается условием, без которого процесс выживания не возможен. Современная цивилизация не умеет управлять процессами жизни, но обладает искусством выживания. Ибо жизнь как таковая крайне опасна для человека, она устраняет в его человеческой функции. Удел человека – противостоять жизни

107. Заражение – не отдельная тема, а фундаментальная стратегическая проблема современного мира. Геополитические стратегии начинают все вновь и вновь проигрывать старые утопии санитарного кордона: Юг-Север, Восток-Запад, Россия-Чечня, НАТО-Россия. Блокируются пути и центры поступления наркотиков. Коммуникационные сети все более усложняются и все больше вмещают в себя информации, которая находиться в непрерывном потоке преобразования и движения. Но сколько существует программ записи и передачи сообщения в системах компьюторных сетей столько существует и разновидностей компьюторных вирусов, готовых стереть в одно мгновение эту все расширяющуюся электронную человеческую память. Всякая защита и есть кордон перед тем, что может нарушить «нормальную» жизнедеятельность западного сообщества. Однако страх перед вирусом-заражением сегодня становится все более поглощающим внимание западно-европейских средств массовой информации. Век новых, но иных эпидемий, почти все они предстают в форме психических эпидемий. Иначе говоря, страх перед тем, что проникает неизвестно откуда и как в самые уязвимые полости организма, неизвестно куда, неизвестно, где, в каком месте и с какой разрушительной силой. Мы не имеем сознания заражения, напротив, они всегда противостоят друг другу. Если бы я сознавал этапы заражения, я мог бы его избежать. Поражением иммунной системы (то есть той системы защиты организма, которую он осуществляет сам без помощи воли и силы сознания).

108. Возобновляющиеся спорадически древние эпидемии накладываются на серию экологических катастроф и бедствий, которые так или иначе относят себя к этому универсальному феномену конца 20-го столетия: **страх перед заражением**. Нарушается не просто способность защиты организма, нарушается условий человеческого существования, так как системы слежения контроля над все новыми и возможными психоэнергетическими и информационными потоками явно не успевают за умножающимся многообразием возможных точек заражения в социальной системе. И этот страх есть страх перед собственным бессилием в деле защиты единственной и самой хрупкой, уязвимой защиты: человеческого организма.

109. Мы отличаем инфекцию психическую от биологической: первая распространяется прежде всего через систему представлений, символов, знаков и только поэтому захватывает (приводит

в действие сам механизм заражения) тела. Заражение психическое позволяет манипулировать большими массовыми образованиями но, вероятно, только на том уровне, где образуются временные разрывы в структуре социальных стратификаций. Власть поражает психическое, но поражает прежде всего социальное воображаемое и манипулирует им по своему усмотрению. И даже не столько по своему плану, сколько с той целью, чтобы не один поток социальной энергии не был бы свободен, не связан. Также как мы должны отделить заражение ментальное от психического и биологического.

110. Голливуд производит множество фильмов, демонстрирующих страх заражения. Фильм The Thing («Нечто»), где заражение распознается просто эмпирически чудовищными событиями метаболизма животных и человека в древние прото-существа (иноземные), но само превращение оказывается чем-то подобным компьютерному вирусу, поскольку только на экране компьютора можно наблюдать процесс этого чудовищного метаболизма, исчезновение одно живой формы существования и переход ее в другую. Иначе, он и невидим. Страх перед заражением, как страх перед всем чем угодно, если оно, это «Нечто» не поддается ни узнаванию, ни контролю, если оно оказывается неотделимым от самого переживания страха. Можно говорить и о странной социальной эволюции болезней к концу 20 века, когда мы получаем все новые известия о том, что причиной всех наиболее тяжких и почти неизличимых заболеваний (начиная со СПИДА, рака, шизофрении и кончая даже инфарктом миокарда) является неопознанный вирус. Вирусология как основа царица всех гуманитарных наук. Мифология Вирусного Заражения разрастается с необыкновенной быстротой.

111. Клонирование – это попытка противостоять глобальному заражению.

112. Распад формы, индивидуации...Информация и есть род регулируемого потока энергии, чистой энергии, которая якобы лишена характеристик смешения. Информационный шум есть тоже информация, но та, которая не достигает получателя. Шум – не информация, а сонорное заражение, которое расстраивает чувствительный аппарат слуха. Но оказывается все варианты допустимого удовольствия так или иначе сводятся к заражению. Наркотики, секс, зрелище, удовольствия от вкуса, слуха, зрительные удовольствия и тактильные. Батай называет это эротизмом.

113. Медицинские эксперты говорят нам, что время Великой Боли подошло к концу. Я могу с этим согласиться: боль теперь в значительной мере стала чисто оптическим (зрительным) феноменом, даже *зрелищем*, т.е. ни тем, что мы чувствуем и переживаем своим телом и душой, а лишь тем, что мы видим. Одним из источников этой тотальной анестезии является экран, экранирование, именно он превращает событие боли в безымянный не относящийся ни к какому телу безымянный оптический субстрат. Конечно, это не значит, что боль исчезла, но теперь ее сфера распространения ограничивается лишь теми переживаниями, которые дозволено иметь, чтобы лучше чувствовать жизнь, и от которых в любой момент можно отказаться, прибегнув к помощи медицины, этого действительного pain-killer`a. Но с другой стороны, могла бы развиваться, например, та же технология пересадки органов в тех темпах, как она развивается сегодня, если бы отсутствовал необходимый трансплантационный материал? Должны происходить несчастные случаи, убийства. войны, катастрофы, – нескончаемый перевод живой боли, страдания мук в чистое стерильное пространство электронных, экранных схем, где боль невозможна. Из другой боли рождаются тела-трансплантанты, освобождающие человека от страданий и смерти. Иначе говоря, боль не исчезает, она лишь изгоняется из одного, вполне специального вида пространства, где для нее больше нет места, из нашего тела. Чтобы жить «достойно» человек не должен страдать, испытывать боль. Идеология тотальной анестезии овладела массовым сознанием Западного общества. Обыденное пространство жизни в плену этой привычки не-страдать. А какого высокого уровня уже достигает искусство уклонения встречи со смертью, следовательно, ретушовки смерти. Нет иной судьбы, как стать пациентами.

Карта Джефферсона

114. Теперь-то я знаю, что такое быть европейцем. Да, действительно, не будучи ангажированным интеллектуалом (и не отстаивающим никаких высших ценностей правящей элиты), кормящихся от рук власти. Мудрый Джефферсон был замечательным геополитиком, причем, антиэтатистского типа. Речь идет о его знаменитой карте и о той разлиновке, похожей на решетку. Решетка эта или карта состоит из прямоугольников, которые сообщаются между собой посредством линий и точек. В сущности, это мир, где господствует точка. Однако это точка связывается с другой только прямой. Все отрезки прямых равны. И другая прямая, и следующая всегда равны друг другу, как всякая точка равна другой. Я только хочу подчеркнуть, что описанная мною карта и гео-этатистсткие идеи Дж., лежащие в основе Американской хартии прав являются по сути дела планом бомбардировок. Это открытие я совершил еще вчера вечером... Действительно, ведь совершенно ясно, что западная демократия (американский вариант) должна быть безусловна демократичная, следовательно, должно быть демократично не только то, что не делают, но все то, что делают. Даже преступление, получая свою квалификацию, проходит сквозь демократическое чистилище. Конечно, бывают «ошибки» и издержки («дело Симпсона», «взрыв в Охклахома-сити», «массовые убийства в Литтлтоне», «дело Клинтона-Левински»). Все, что хорошо для демократии, демократично, все, что плохо для демократии, недемократично. Но в таком случае даже военные действия, причем, вероятно, самые варварские, если они достаточно демократичны по заданным общечеловеческим целям, могут быть признаны гуманными.

115. Нас предупреждали: точное бомбометания – это чисто хирургическая операция. Никаких жертв, или сведение их к минимуму. Нас предупреждали, что западная демократия должна быть сильной. Это демократия в действии. Причем, здесь даже малейшей иронии нельзя допускать.

116. Прежде всего обратим внимание на всю двойственность мира, как он нам представляется в средствах массовой информации. И здесь есть все та же старая метка противостояния Запада и Востока (России). Совершенно очевидно, что анти-западно настроенная (восточная) аудитория в основном видит картинку бомбометаний и жертв со стороны мирного сербского населения. В то время как западная, напротив, видит только картинки этнической чистки», великий исход албанского населения, их страдания и жертвы. В одном случае безусловной жертвой избирается население Косово, в другом, – мирное сербское население. Своеобразный процесс рефракции. Когда вы опускаете палку вводу, то ее отраженный водой конец изменяет свое местоположение относительной реальной палки, которую вы держите в своих руках. Истинная реальность происходящего является предметом сокрытия с двух сторон. Пропагандистские машины работают вовсю. Так и утвердились две картинки, которые имеют безусловную власть над своими потребителями. То, что сербов и других странах, протестующих против применения силы в международных отношениях является варварскими бомбардировками практически безоруженной, не могущей ответить ударом на удар маленькой страны на Балканах, для стран НАТО и части их населения, общественного мнения является лишь необходимым следствием из политики этнических чисток, которые применяет Милошевич. Пока ни одна из сторон не собирается уступать (что грозит Югославии – теперь уже ясно – потерей всего жизненного и экономического потенциала). Что же получается? А получается вот такая странная совокупность искаженных картинок. И искаженных именно в угоду той позиции, которую каждая из воющих сторон пытается занять.

117. Но что значит прекратить бомбардировки? Да и можно ли, да и нужно ли их прекращать? Прекратить – это потерпеть поражение? Не прекратить – это тоже потерпеть поражение, еще более унизительное, чем можно себе представить. Прекращение бомбардировок – это все равно, что прекращение истерического приступа: пока пациент только впадает в гнев, и еще сотрясается от первых конвульсиями, он уже не за что не отвечает, но как только приступ прекратиться, он должен будет отвечать за то, что ты совершил во время припадка. В основе это несконча-

емой серии бомбардировок лежит феномен большой истерии. Ведь совершенно ясно, что европейские страны и США никак не смогут потом оправдаться ни в глазах собственного общественного мнения, ни тем более в глазах своих недоброжелателей и врагов. Отсюда вся истеризация картинки. И полная невменяемость АВТОРА. Ведь уже все проиграно, причем, проиграно все, что можно было проиграть: невинность западного представления о МОРАЛИ, ЗАКОНЕ, СВЯЩЕННОМ ПРАВЕ НА ЖИЗНЬ. Все цивилизующие моральные ценности западного общества сегодня вполне доступны для наблюдения.

118. Право судить других, недостаточно цивилизованных откуда оно пришло, почему лицемерие, снобизм, презрение к варварам вдруг проявились с такой силой, что повергли в ужас всех тех, кто еще надеялся на Запад и ту систему ценностей, которая разделялась и разделяется многими из моих коллег. Откуда все это?

119. Почему не прекращаются бомбардировки? Да, потому, чтобы их прекратить, необходимо знать, почему они были начаты…

Норма

120. Общество, если оно, действительно, желает понять себя, должно быть внимательно к смещению черты нормализации, к движению ее сложной кривой, так как она пересекает общество на различных уровнях и с разной степенью эффективности. Норма может быть гибкой и пластичной (что особенно характерно для современных западных обществ), и однако не терять свой «жесткости». Но может стать и неподвижной чертой, когда она полностью определяется ориентацией на «исключение» и становится чем-то подобным священному межевому камню, отделяющему зло от добра, черное от белого и т.п. И вот что странно, и в чем не всегда отдают себе отчет, там, где воцаряется норма, мы никогда не находим антропологически ясного телесного идеала. Норма застывшая только исключает, карает, и преследует, открывает нам сферу исключенного, заражая страхом быть исключенным, который тем более угрожает нам, чем активнее проводится в жизнь практика исключения не-нормы. Ужас появляется, когда сама жизнь оказывается **вне** нормы; нечто подобное, вероятно, можно было наблюдать в конце 30-х годов, когда сталинский террор достиг невиданных масштабов.

121. Каков режим нормы в настоящее время? Что считается преступлением, а что нет, какие преступления представляют собой большую опасность: злостное хулиганство со всеми его тяжкими последствиями, преступления против собственности или организованные формы преступности, или, что такое, например, «преступление государственные», не свершаемые от имени государства, а именно те преступления государственных чиновников, которые прямо нарушают Закон и тем не менее не преследуются судом и являются как бы преступлениями вынужденными, т.е. совершаются как раз по логике негласно установленной, но видимой всему обществу «преступной» норме. Государственные институты охраны Конституции также вовлечены в движение этой нормативной кривой, что постоянно смещается в сторону от Закона, причем, настолько далеко, что Закон уже не в силах повлиять на становление самого нормативного представления. И тогда возникает опасная ситуация – юридически абсолютно бессмысленная – когда норма начинает полностью определять все условия применения закона, не учитываться, а именно определять.

122. То же «заказное убийство» может интерпретироваться как одно из тяжких преступлений против личности (что очевидно), но и в тоже время как выражение экономического интереса отдельных преступных структур и групп. Российский «киллер» выступает чем-то в роде знака, помечающего движение кривой нормализации: нормально, что преступники убивают друг друга... и черта смещается (так нередко рассуждают «органы правопорядка», опираясь на «мнение» народа); нормально так же убивать конкурентов, если речь идет о реализации глобальных экономических

интересов (так рассуждают те, кто заказывает киллера, ведь, если ты не убьешь, то убьют тебя). И черта вновь заколебалась. Нормально убивать, в конечном итоге, все это получает именно такой смысл. Нормализуется, т.е. повторяется и становится некой обыденной формой поведения то, что не может быть нормой, ибо подрывает сами основы общественного устройства. Однако подобная норма начинает утверждаться в общественном сознании, даже, если все признают ее очевидную ненормальность. Закон перестает действовать именно потому, что обществом не опознается черта нормализации, закон и бессилен потому, что лишается всякой возможности влиять на преступление, соотносить его с устойчивой нормой; общество не в силах оценить результатов применение закона. Черта нормализации почти стерта: в послеперестроечную эпоху всякое преступление оказывается, в конечном итоге, преступлением экономическим (за ним – то ли обнищание и ожесточение, то ли открытое недовольство, то ли потеря ориентиров в новой социальной ситуации, то ли жажда наживы, а то и государственные интересы, выражаемые отдельным коррумпированным чиновником и т.п.) За преступлением не оказывается преступника. Но в таком случае, остается только сделать один вывод: все общество оказывается втянутым в производство преступных практик, кто не преступает, тот не выживает.

123. Феномен тюрьмы мне видится в нескольких планах. С одной стороны, тюрьма указывает на общее морально нравственное, экономическое и гражданское состояние общества. Ведь она, надо признать это, – социальный «отстойник», но и важный индикатор социальных процессов. С другой, она имеет «историю» и должна исследоваться как институт, проходящий определенные стадии развития (так, в «хорошие времена» ее роль падает, в «плохие» резко возрастает). План пенитенциарной генеалогии, план более скрытый, не до конца выявленный, свидетельствующий о трагических этапах становлении тюрьмы в нашем обществе как института. Действительно, тюрьма еще должна стать институтом, чтобы быть тюрьмой. К институциональным характеристикам тюрьмы я бы прежде всего отнес ее взаимодействие с другими общественными институтами общества (не карательными). Затем социально-экономические, морально-нравственные и «карательно-исправительные» условия ее воспроизводства.

Каким образом тюрьма воспроизводит себя и почему ее воспроизводство в отдельные времена становится столь опасным для общества? Не получается ли так, что особенности воспроизводства тюрьмы как института вступают в неразрешимые противоречия с гражданско-правовым развитием общества? Что, вероятно, и происходит сегодня!

124. Разве не понятно, что мы всегда имеем в виду по крайней мере два образа тюрьмы: один представляет ее как необходимое, но формальное и вполне рутинное общественное учреждение, а другой, – саму тюрьмы. Современная тюрьма – и в этом нет ничего удивительного, – всегда была «чувствительна» к быстро меняющимся представлениям общества о справедливости наказания. Особенно это заметно, когда тюрьма еще не имеет определенного институционального пути развития, когда она не в силах положительно влиять на общественное мнение, «нравы», мифологию массового сознания. Действительно, кому как ни тюрьме определять одну из важнейших черт нравственно гражданского состояния общества?! Ведь она в целом и ее «жители» собственной жизнью и опытом отвечают на вопрос, что такое «справедливое наказание», «вина», «совесть», «преступление», «право», «свобода». Тюрьма, следовательно, – это не только режим исполнения наказания. И если, допустим, пенитенциарные учреждения ориентируются в повседневной практике *исключительно* на карательную традицию российской уголовной юстиции, то, естественно, «тюрьма» не может стать важным сдерживающим институтом в «преступном», «безнравственном» и «жестоком» обществе. Следовательно, на социальный статус тюрьмы не влияет допустимый в данное время режим наказания, он вторичен. И он повышается, как только тюрьма начинает способствовать возрастанию «нравственного чувства» в обществе. Несбыточная мечта!

125. Далее, тюрьма, должна быть *открытым* институтом общества. Все должно быть открыто общественному контролю. Речь идет о минимизировании влияния на нее со стороны колеблю-

щихся настроений определенных правящих слоев общества. А оно как известно, предполагает «закрытость»). Могут возразить, но как это возможно? Ведь тюрьма – это чистое отражение наличного состояния общества. Разве можно разорвать этих зеркальных близнецов? Не только можно, но и нужно, если тюрьма желает добиться автономного социального статуса. Я полагаю, что *открытость* тюрьмы должна противостоять *закрытости общества*, как *открытость общества – закрытости тюрьмы*. И это не игра в «диалектику», а возможность установить начальные условия отношений между «тюрьмой» и «обществом». Человек может попасть в заключение, скажем, на несколько дней, на 5 лет, на 15 или получить пожизненный срок, но в любом случае преступает черту, за которой он больше уже не правонарушитель или «рецидивист», а заключенный. Теперь, даже на краткое время, он тот, кто поражен в правах. Закрытая тюрьма, этот зеркальный близнец государственной идеологии насилия, – наиболее страшная угроза гражданскому правовому обществу. Если служители тюрьмы отождествляют себя с государственными чиновниками, как если бы они тоже были теми, кто выносит приговор, – «прокурорами», «народными мстителями», «борцами с преступностью» – то тюрьма становится местом нарастающего распределения боли (но уже без суда и следствия). В такой тюрьме нет заключенных, одни преступники, и тюремный персонал от мала до велика, занимается в основном карательной практикой «воспитания». И вот тогда и происходит то, что мы можем наблюдать сегодня. Современная российская тюрьма – это тюрьма без заключенных, там – одни преступники. Таким образом, если уточнить еще раз наше определение институциональности, тюрьма не может осуществлять свои изначальные функции, – быть тюрьмой – а становится местом беспорядочной оргии разнообразных карательных акций. Конечно, можно сказать о том, что тюрьма все-таки существует, имеет «историю», и что и в российских условиях она способна функционировать как институт... Да, можно согласиться, но с важным уточнением. Тюрьма «существует», но на основе иного, не гражданского, а «тюремного» права. Упомянем лишь о роли «воров в законе» – давних блюстителей тюремной справедливости в российской тюрьме. Правовое здесь подменяется «обычаями» преступного сообщества. Получается странное переплетение воспитательных и карательных функций внутри отдельно взятого тюремного режима. Преступная среда выступает в качестве «воспитателей», а те, кто призван обществом быть ими, оказывается в роли «карающих», использующих методы перманентного наказание. Тюрьма маргинализуется, и все труднее становится отличить заключенного от его преступления

126. Суммируя выше сказанное, можно прийти к следующим выводам. Тюрьма необходима как институт исполнения «справедливого наказания». С другой же стороны, этот институт имеет собственное время, технологию, идеологию, цели институционального развития (или должен иметь) и эти цели порой могут противостоять обществу, и даже быть антиобщественными. И тогда внутреннее развитие пенитенциарного учреждения оказывается связанным с антиобщественным, анти-гражданским пафосом, ибо в такой тюрьме содержаться «преступники», но не граждане временно пораженные в гражданских правах, но, заметим, не лишенные основных человеческих прав. Не всякое наказание разрушает личность, но тюрьма, и особенно та, где она слаба как институт, становится местом перманентного применения наказания, там уничтожение прав личности возведено в «народный обычай».

127. Общественное сознание сегодня шокировано необычайным феномен преступления: «беспределом». В сущности, и несколько иначе: преступление переходит из сферы относительно «случайного» события в ранг социальной эпидемии, которой поражается общество на всех уровнях. «Тюрьма» все больше становится орудием политической борьбы.

128 Известно, что спартанское общество не предполагало существование тюрьмы (только для рабов). Механизм евгенической выбраковки человеческого материала был совершенен. Поэтому-то и не было «плохих» спартанцев... (А «плохих» русских слишком много: «кавказцы», «чеченцы», «евреи», «коммунисты», «новые русские», «демократы», «национал-коммуно-фашисты», «бомжи» и т.д.) Почти все тоталитарные общества («империи») это общества без тюрьмы (т.е. за тюрь-

мой не признавалось никаких социально полезных функций). Ведь, что такое унитаз из золота, о котором мечтал «наш Ильич»? Не просто отмена «власти денег», но и победа, полная, абсолютная над тюрьмой как институтом. К чему приводит даже временная отмена угрозы тюремным наказанием свидетельствуют события 70-х годов в одном из городов Канады. Поучительный социальный эксперимент: забастовка полицейских. Полицейские объявили забастовку, и, буквально, за сутки количество преступлений возросло в прогрессии. Результаты забастовки оказались просто обескураживающими: в разного рода правонарушения было вовлечено почти 25% городских жителей. Этот курьезный эксперимент показал, что от 5% до 10% готовы в любой момент совершить то или иное преступление, – это так называемый потенциал тюрьмы. И еще почти 20% – это те, которые готовы его совершить, если риск наказания будет сведен к нулю. В итоге, современное общество потенциально преступно и постоянно балансирует на грани массированного, эпидемического нарушения закона. Другое дело, конечно, какие это преступления! Мне важно лишь подчеркнуть тот факт, что угроза наказанием все же продолжает играть значительную роль в обществах западной демократии. И много большую, как мне представляется, чем в нашем, постимперском, посттоталитарном, постсоветском обществе.

129. Нет нужды искать ответ на вопрос: почему в нашем обществе угроза наказанием не имеет должного социального значения? Все слишком очевидно: нет вины! Поэтому теряет всякий воспитательный смысл карательное применение Закона. Кто отменяет тюрьму, конечно, не преступник. Лишь государство, став преступным, в силах отменить тюрьму. Подлинная отмена тюрьмы происходит в силу отмены или ослабления моральной вины, виновности, уклонение от ответственности за совершенную ошибку. Тогда вопрос: почему социальный смысл виновности так и невостребован нашим постперестроечным обществом?